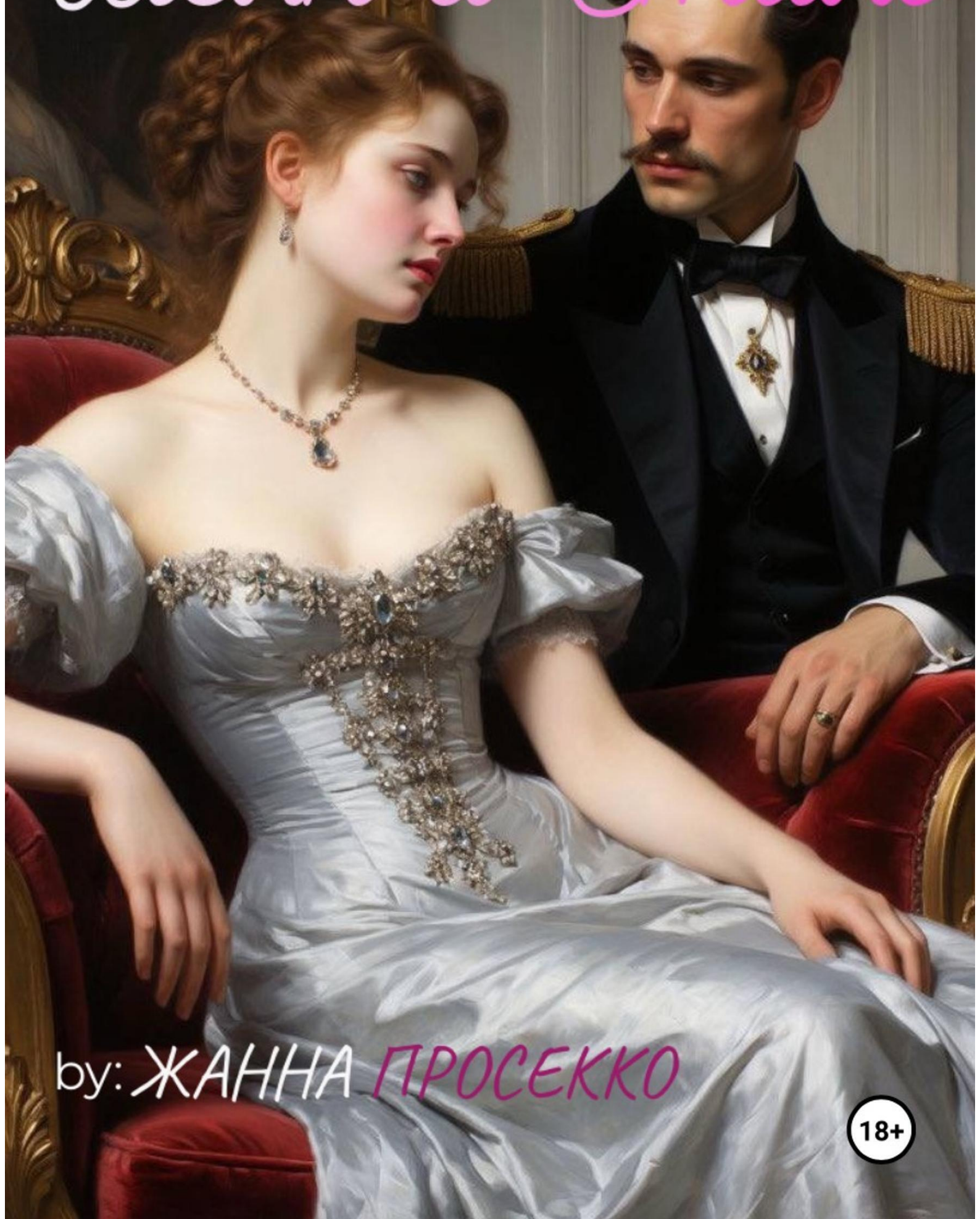


Шёнк и Емаль



by: ЖАННА ПРОСЕККО

18+

Жанна Просекко

Шёлк и Сталь

«Автор»

2026

Просекко Ж.

Шёлк и Сталь / Ж. Просекко — «Автор», 2026

Париж охвачен огнём республиканских восстаний, и юная графиня Мария де Метресс бежит с отцом в холодный, стальной Петербург в поисках стабильности. Но вместо покоя дерзкая француженка находит свою судьбу: на заснеженном Невском проспекте она, ещё не зная, кто перед ней, высмеивает усатого офицера. Офицер оказывается Императором Николаем I — и оскорбление оборачивается приглашением на бал, с которого начинается её падение в золотую клетку. Страсть, власть, изумруды и шёлк простыней сменяются жестокостью, ударами и слезами. Мария рождает ему детей и теряет себя, пока однажды на горизонте не появляется граф Александров — человек, готовый бросить вызов самому Императору ради её чести. Но решится ли она, сломленная и запуганная, сделать шаг навстречу истинной любви? Или страх перед сталью окажется сильнее шёлка? «Шёлк и сталь» — это история о том, как мягкое побеждает твёрдое, а любовь побеждает силу. Первая книга трилогии.

© Просекко Ж., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Чужой берег	5
Глава 2. Золотая клетка	11
Глава 3. Тайное пламя	16
Глава 4. Шёлк и сталь	20
Глава 5. Падение в сталь	27
Глава 6. Пепел и искры	33
Глава 7. Публичное испытание	38
Глава 8. Прощание с золотой клеткой	46

Жанна Просекко

Шёлк и Сталь

Глава 1. Чужой берег

В Париже, из которого они бежали, всё ещё пахло порохом.

Не тем порохом, что используют на парадах — красивым, театральным, — а настоящим, едким, замешанным на крови и булыжной крошке. Восстание республиканцев 1832 года захлебнулось в собственной крови, и особняк графа Франсуа де Метресс на улице Сент-Оноре, ещё недавно полный гостей, музыки и споров о свободе, стоял теперь с заколоченными окнами. В гостиной, где когда-то читали Вольтера и Руссо, гуляло эхо, а в столовой, где за бокалами бордо обсуждали будущее Франции, теперь пахло только пылью и страхом.

Мария помнила тот день, когда отец вошёл в её будуар — вошёл не графской походкой, а стариковской, шаркающей, — и сказал всего два слова:

— Мы едем.

— Куда? — она отложила томик Бальзака и подняла на него глаза. Ей было тогда двадцать, и она ещё верила, что мир можно изменить баррикадами.

— В Россию, Мари. В Петербург.

Она расхохоталась ему в лицо — звонко, заливисто, как смеялась всегда, когда слышала что-то абсурдное.

— В Россию? Папá, ты сошёл с ума. Там же медведи, снег и дикари в шкурах. Мы — французы. Мы не можем жить среди варваров.

— Мы можем жить где угодно, где нас не расстреляют за фамилию, — ответил он, и его усталые глаза погасли. — Всё кончено, Мари. Франция, о которой мы мечтали, умерла. Осталось только то, что мы можем спасти.

И вот теперь, три месяца спустя, она стояла у окна наёмной кареты и смотрела, как Петербург надвигается на неё — серый, плоский, бесконечный, словно вырезанный из жести неумелым мастером. Январь 1833 года стоял такой лютый, что даже дыхание застывало на губах ледяной крошкой. В Париже сейчас, должно быть, моросил дождь, и Сена несла свои воды под серым небом, а в кондитерской на углу улицы Сент-Оноре подавали горячий шоколад с круассанами. Здесь же — здесь всё было иначе. Здесь всё дышало сталью.

— Посмотри, Жюстина, — произнесла Мария по-французски, не оборачиваясь к горничной, скромно сидевшей на откидном сиденье. — Они даже дома строят, как солдаты на плацу — ровными шеренгами. Ни одной кривой линии. Ни одного намёка на фантазию. Это не город, это казарма.

— Мадемуазель, — тихо ответила Жюстина, поправляя муфту на коленях, — может быть, не стоит так громко? Вдруг кто-то услышит?

— Ах, оставь! — Мария отмахнулась. — Кто здесь понимает по-французски? Эти варвары, которые даже кружева на манжетах не умеют носить? Посмотри на них, Жюстина. Смотри на нашу карету, как на диковину. Наверное, думают: «Едут лягушатники, везут сюда свою чуму и разврат».

Она рассмеялась — тем самым смехом, звонким и беззаботным, который всегда был её защитой. Смеяться, чтобы не плакать. Дерзить, чтобы не бояться. Весь её вид — гордая осанка, вздёрнутый подбородок, глаза, горящие вызовом, — кричал: «Мне всё равно! Мне ничего не страшно! Я — француженка, и этим всё сказано!»

Но где-то глубоко внутри, под этим блестящим фасадом, дрожала испуганная девочка, которая потеряла всё. Дом, друзей, привычный мир. Отца, который когда-то был столпом, а теперь превратился в тень. И веру в то, что жизнь будет лучше. Ведь они бежали не за счастьем. Они бежали за «точным завтра», как выразился отец. За стабильностью. За уверенностью, что завтра их не поведут на расстрел.

Карета остановилась у доходного дома на Большой Морской. Грязно-жёлтый фасад, облупившаяся лепнина, скрипучая лестница. Не графские покои, но выбирать не приходилось. Франсуа де Метресс, выходя из кареты, пошатнулся и опёрся на руку дочери. Его пальцы, когда-то такие сильные, теперь дрожали.

— Папá, — сказала Мария, помогая ему подняться по ступеням, — я обещаю тебе, что всё наладится. Мы получим бумаги, ты найдёшь службу, и этот кошмар кончится. А пока — я здесь. Твоя дочь. Твоя мятежница.

Он слабо улыбнулся, но ничего не ответил.

Невский проспект на следующий день был подобен театральной сцене, на которой разыгрывали спектакль под названием «Российская империя».

Мария вышла из кондитерской Вольфа и Беранже — единственного места в этом городе, где, как ей показалось, ещё сохранилась искра цивилизации, — и остановилась, разглядывая толпу. Дамы в шляпках, похожих на взбитые сливки, офицеры в мундирах, сверкающих эполетами, чиновники в шинелях с бобровыми воротниками, разносчики, извозчики, нищие. Всё это двигалось в строгом, почти военном ритме, словно сам город был гигантским часовым механизмом, а люди в нём — винтиками.

— Мадемуазель, может, вернёмся домой? — тихо спросила Жюстина, кутаясь в шаль. — Холодно, да и граф просил не задерживаться...

— Отец просил не задерживаться, потому что он боится, — отрезала Мария. — А я не боюсь. Я хочу увидеть, чем дышит этот город. И знаешь, что я тебе скажу? Он дышит скукой.

Она двинулась по проспекту лёгкой, летящей походкой, и её редингот — изысканный, парижский, небесно-голубого цвета, подбитый серебристым мехом — резко выделялся среди тёмных шинелей и тулупов. Встречные оглядывались на неё — кто с любопытством, кто с

неодобрением. Иностранка. Француженка. Дерзкая особа, которая идёт по Невскому так, будто это Елисейские поля.

Мария замечала эти взгляды и наслаждалась ими. Ей хотелось крикнуть: «Да, я другая! Да, я не ваша! И мне плевать на ваши правила!» В ней бурлила та самая мятежная кровь, что погнала её отца на баррикады, а её саму — в Петербург, вместо монастыря или приюта. Она не умела смиряться. Она не умела кланяться. Она умела только одно — жить на полную катушку, рискуя каждую секунду.

Именно в этот момент она увидела его.

Вернее, сначала она увидела двух адъютантов, застывших у витрины ювелирного магазина с таким видом, будто они охраняли не меньше чем государственную казну. А потом — его. Высокого, статного офицера в тёмно-зелёном мундире с красным воротником. Он стоял к ней вполоборота, изучая какую-то карту, и солнечный свет играл на его эполетах так, что они казались отлитыми из чистого золота. Его выправка была безупречна — не просто военная, а какая-то врождённая, будто он родился уже в мундире и при шпорах. Но что особенно поразило Марию — это его лицо. Точнее, профиль, который она видела: резкий, словно высеченный из мрамора, с надменной линией рта и ухоженными, лихо подкрученными вверх усами.

«Боже, — подумала она, и её губы тронула усмешка, — да это же вылитый павлин. Или, скорее, сержант, которого нарядили в генеральский мундир, но забыли дать мозги в придачу. Посмотрите на эти усы — они же закручены так, будто он спит в специальных щипцах!»

Ей вдруг стало невыносимо весело. Это был нервный смех, смех-вызов, смех-протест против всего, что душило её в этом городе. Она замедлила шаг, поравнялась с офицером и, сделав вид, что обращается к Жюстине, произнесла по-французски достаточно громко, чтобы он услышал:

— Посмотри, Жюстина, какие пленительные усы! Наверняка хозяин тратит на них больше времени, чем на изучение наук. Говорят, в этой дикой стране красивые усы заменяют ум. И, судя по этому экземпляру, они заменяют всё остальное — включая манеры и образование.

Она ожидала чего угодно. Что он покраснеет, как мальчишка, что он нахмурится и отойдёт, что он вообще не поймёт — в конце концов, это же Россия, здесь никто не говорит по-французски, кроме горстки аристократов. Она даже не ожидала ответа — ей просто хотелось бросить камень в это стоячее болото и посмотреть, как разойдутся круги.

Но он ответил.

Не поворачивая головы, не выпуская карту из рук, он произнёс на чистейшем, изысканном французском, которым говорят в аристократических салонах Сен-Жерменского предместья:

— Вы весьма проницательны, мадемуазель. Только напрасно вы приписываете дикость стране, где научились ценить красоту даже в такой детали, как усы. Впрочем, варварам простительно не знать наших обычаев. Им простительно даже оскорблять незнакомых офицеров на улице. Это вопрос воспитания — или его отсутствия.

У Марии перехватило дыхание. Он не просто понял её — он ответил. Ответил так, что колкость вернулась к ней бумерангом. Назвал её варваром. Дал понять, что её поведение — не дерзость светской львицы, а хамство дикарки. И всё это — не повышая голоса, не меняя выражения лица, с той убийственной, ленивой вежливостью, которая была страшнее любого крика.

Кровь бросилась ей в лицо. На мгновение она растерялась — впервые за долгое время кто-то поставил её на место. Но тут же её природная гордость взяла верх. Ну уж нет! Она не позволит какому-то русскому солдафону, пусть даже и говорящему по-французски, одержать над ней верх.

— Вы находите дерзость варварством? — парировала она, резко обернувшись к нему и глядя прямо в глаза. — А я нахожу варварством солдафонство, возведённое в ранг добродетели. Весь ваш Петербург похож на казарму, где даже дамы маршируют, а мужчины только и делают, что звенят шпорами и крутят усы, как этот... как вы.

Он медленно, с той царственной неторопливостью, от которой у Марии вдруг пересохло во рту, повернул к ней голову. И она впервые увидела его глаза. Светло-голубые, прозрачные, но совершенно не холодные — они горели. В них плясали бесенята — умные, цепкие, испытующие. Глаза человека, который привык, что перед ним трепещут.

Он окинул её взглядом — медленно, оценивающе, от небесно-голубого редингота до кончиков атласных туфелек, выглядывавших из-под меховой оторочки, — и его тонкие губы тронула усмешка. Усмешка, от которой по спине Марии пробежала дрожь. Неприятная и... странно волнующая одновременно.

— «Звенят шпорами»? — переспросил он, и в его голосе послышался почти смех. — Сударыня, вы, верно, недавно из Парижа? Того самого, где чернь на баррикадах бряцает булыжниками? Там, полагаю, шума было куда больше. И крови тоже. Но, конечно, что может знать о крови юная парижская барышня, которая только и умеет, что разглядывать чужие усы?

Это был удар ниже пояса. Удар по самому больному — по тому, от чего они бежали, что оставили позади, что до сих пор снилось ей в кошмарах. Упоминание о баррикадах, о крови, о той Франции, которую она потеряла. Он не просто отбил её выпад — он вырвал оружие из её рук и направил против неё же.

Мария побледнела. Её губы задрожали, а пальцы сжались в кулаки внутри муфты. Вся её бравата, вся её вседозволенность, весь её парижский лоск — всё это в одно мгновение облетело, как шелуха, обнажив растерянную, напуганную, глубоко раненую женщину.

— Вы невыносимы! — выдохнула она, теряя последние остатки самообладания. — Вы... вы грубое животное в эполетах, и ваши усы так же нелепы, как и ваша страна! Вы не имеете права так говорить со мной! Я графиня де Метресс, а вы — никто! Обычный офицеришка, который корчит из себя Цезаря на заснеженном проспекте!

Он выслушал её тираду с непроницаемым лицом, и только в его глазах, этих светло-голубых глазах, плясал какой-то опасный, затаённый смех. Когда она замолчала, тяжело дыша, он аккуратно сложил карту и убрал её за обшлаг.

— Графиня, значит, — произнёс он задумчиво. — Де Метресс. Французские эмигранты? Понятно. Что ж, графиня, ваш титул здесь не имеет значения. Как и ваш острый язычок. В России, о «дикости» которой вы так сожалеете, с незнакомцами на улицах не столь... фри-вольны. Это может быть небезопасно.

Он развернулся и, не прощаясь, не кланяясь, не говоря больше ни слова, направился прочь. Адъютанты тут же последовали за ним, как два цепных пса. Мария осталась стоять, прижав руку к груди и чувствуя, как бешено колотится сердце. Её трясло — от гнева, от унижения, от какого-то необъяснимого, животного страха.

— Мадемуазель! — Жюстина бросилась к ней, схватила за локоть. — Мадемуазель, кто это был? Вы целы? Что он вам сказал?

— Ничего, — прошептала Мария, не в силах отвести взгляд от удаляющейся фигуры. — Ничего особенного. Просто какой-то наглый конногвардеец, возмнивший себя вершителем судеб. Пойдём отсюда. Скорее.

Но уйти далеко им не удалось. У кондитерской Вольфа и Беранже их уже ждал граф де Метресс, и его лицо было бледнее снега, лежавшего на тротуаре.

— Мари! — он схватил дочь за плечи. — Дитя моё, с кем ты говорила? Я видел из окна... Это был он?

— Кто — он? — Мария всё ещё была во власти эмоций и не сразу поняла вопрос.

— Этот офицер! С адъютантами! Ты говорила с ним, я видел! Ты понимаешь, кто это?!

— Папá, успокойся, — она попыталась мягко высвободиться из его хватки. — Это просто какой-то солдафон с усами, как у моржа. Он нахамил мне, я ответила, и мы разошлись. В чём дело?

Граф Франсуа де Метресс закрыл глаза и прислонился спиной к стене. Казалось, он сейчас потеряет сознание.

— Это не просто солдафон, Мари, — произнёс он, и голос его дрожал. — Я только что узнал... Мне сказали в кофейне... Этот мундир, эти адъютанты... Это Государь Император. Николай Павлович. Самодержец Всероссийский. Человек, который одним росчерком пера может даровать нам всё или уничтожить без следа.

Земля ушла у Марии из-под ног.

Она застыла, глядя на отца, и в её ушах зазвенело — тот самый звон, что предвещает обморок. Тот офицер, которому она сказала, что его усы нелепы. Которого назвала животным в эполетах. Которому бросила: «Ваша страна так же нелепа, как вы». Это был Император. Сам Император. Человек, о жестокости и самовластии которого ходили легенды. Человек, раздавивший восстание декабристов. Человек, чьё слово было законом на одной шестой части суши.

— Боже мой... — выдохнула она, хватаясь за дверцу кареты. — Что я наделала?

— Молись, дитя, — прошептал граф, вталкивая её внутрь. — Молись, чтобы его гнев пал только на тебя, а не на весь наш род. Ты даже не представляешь, с кем была столь фривольна. Ты не представляешь, что он может сделать с нами.

Карета тронулась. Мария сидела, вжавшись в сиденье, и перед её глазами стояло его лицо. Его усмешка. Его глаза, в которых плясал опасный, затаённый смех. Его слова: «Это может быть небезопасно».

И тут она вспомнила кое-что ещё. Вспомнила, как он смотрел на неё — не просто с насмешкой или гневом, а с каким-то мрачным, хищным любопытством. Так смотрит тигр на лань, которая осмелилась зайти на его территорию. Не для того, чтобы сразу убить, а чтобы поиграть. Изучить. Помучить.

Мария поняла: её дерзость, её вседозволенность, её парижская бравада — всё это только что столкнулось с силой, которая не знает границ. И эта сила её заметила.

Вечером того же дня, когда Мария, всё ещё в трепете, сидела в своей комнате, не в силах проглотить ни куска, в дверь их съёмной квартиры постучали. Это был флигель-адъютант — тот самый, что стоял поодаль на Невском, с каменным, непроницаемым лицом.

На плотной бумаге с золотым обрезом было выведено каллиграфическим почерком:

«Графу Франсуа де Метресс и его дочери. Его Императорское Величество имеет честь пригласить Вас на бал в Зимний дворец послезавтра. Присутствие обязательно».

Внизу стояла размашистая, словно высеченная на камне подпись.

Мария, прочитав записку через плечо отца, медленно опустилась на кушетку. Это был не гнев. Это было нечто гораздо более страшное. Хищник, вместо того чтобы наказать дерзкую птицу, приглашал её в своё логово. В свой дворец. В свой мир, из которого нет выхода.

Она вспомнила его ледяной взгляд и последние слова: «Это может быть небезопасно». И вдруг с пугающей ясностью поняла: Невский проспект был только началом. Истинная охота начиналась сейчас.

А за окнами особняка валил снег, укутывая Петербург в белый саван, и где-то вдалеке, над Невой, били куранты Петропавловской крепости. Мерно, тягуче, неумолимо. Словно отсчитывая мгновения до того момента, когда дверца золотой клетки захлопнется навсегда.

Глава 2. Золотая клетка

Петербургский день угасал быстро, словно свеча, опрокинутая в снег. К тому часу, когда Марии надлежало начать свой туалет, за окнами съемной квартиры на Большой Морской уже сгустилась густая, чернильная тьма, пронизанная колючим ветром с Невы. Но внутри, в будуаре, было жарко натоплено, и воздух, казалось, дрожал от напряжения, смешанного с ароматом пудры и паленых волос — Жюстина грела щипцы для укладки над спиртовкой.

— Выше, Жюстина, еще выше, — скомандовала Мария, стоя перед огромным, в полный рост, зеркалом в потемневшей от времени раме красного дерева. Она была в одной сорочке из тончайшего батиста, сквозь которую просвечивало тело, и в корсете, стянутом так туго, что ее дыхание стало частым и неглубоким.

Платье, которое они выбрали после долгих мучений — единственное, достойное Зимнего дворца, — висело на манекене, и оно было произведением искусства. Бальное платье из серебристо-голубого, как лед на Неве, муара, затканного по подолу мельчайшим узором из белого бисера и лунных камней. Каждый камень вспыхивал при малейшем движении, создавая иллюзию, что платье покрыто инеем. Лиф, облегающий стан, был отделан облаком из прозрачного тюля цвета морской волны, а короткие, пышные рукава-буфы открывали всю длину рук, подчеркивая их юную хрупкость. Декольте, довольно смелое даже для парижской моды, обрамляла нитка отцовского жемчуга — прохладного и тяжелого, будто слёзы.

— Ох, мадемуазель, — прошептала Жюстина, застегивая на шее Марии жемчужный замочек. Ее простое, курносое лицо было бледно, а руки дрожали куда заметнее, чем у госпожи. — У меня дурное предчувствие. Говорят, Императрица в отъезде, на водах. А без нее, говорят, Государь становится сам не свой. Словно с цепи срывается.

Мария замерла. Императрица в отъезде. Значит, на всем этом колоссальном балу не будет хозяйки. Не будет никого, кто одним лишь взглядом мог бы осадить мужчину, чья воля — закон. Эта новость, произнесенная шепотом, отозвалась в ней холодком дурного предчувствия. Но пути назад не было.

— Значит, тем более я не доставлю ему удовольствия видеть меня дрожащей, — отрезала она, расправляя плечи. — Закончи с веером и подай опахало. То, что с перламутровыми пластинами.

Она не хотела смотреть на себя в зеркало. Серебристое облако, сотканное из муара и камней, казалось чужим. Оно принадлежало той незнакомке, что едет на поклон к Императору. А внутри этого облака дрожала от страха и неизвестности парижская девчонка, которая всего три дня назад смеялась над усами самодержца.

Зимний дворец не сиял — он пылал. Сквозь двойные окна кареты Мария видела, как весь фасад, уходящий ввысь на сотни окон, превратился в сплошную стену дрожащего золотистого света. Парадная лестница, по которой они поднимались с отцом, была мраморной поэмой. Белый, с серыми прожилками камень, казалось, сам источал сияние. По бокам, на каждой ступени, застыли кавалергарды в белых мундирах и касках с двуглавыми орлами. Они стояли недвижно, словно изваяния, и их называли «золотой стражей» не за цвет мундиров, а за блеск, исходивший от их выправки.

Граф Франсуа де Метресс шел рядом, прямой как палка, но Мария чувствовала, как мелко подрагивает его локоть. Его парадный мундир французского аристократа, шитый еще до революции, хоть и был безупречен, выглядел здесь старомодной диковиной. Он был бледен, и его морщины, казалось, стали глубже на десять лет.

— Держись ближе ко мне, Мари, — прошептал он, когда они вступили в анфиладу залов. — И ради всего святого, следи за языком. Здесь даже у стен есть уши, и все они доносят прямиком в царский кабинет.

Но Мария уже не слышала его. Она утонула в ослепительном великолепии. Они проходили зал за залом, и каждый был прекраснее предыдущего. Белая гостиная, обтянутая шелком цвета слоновой кости. Георгиевский зал, где паркет под ногами был набран из двенадцати драгоценных пород дерева, а со стен сурово взирали портреты генералов. И, наконец, главная балльная анфилада, где свет тысяч свечей в хрустальных канделябрах, умноженный бесчисленными зеркалами в золоченых рамах, создавал иллюзию бесконечного сияния. Воздух был тяжел от запаха горячего воска, духов и живых цветов — где-то в зимнем саду цвели померанцевые деревья, обещая свой пленительный аромат в приданое невестам.

Дамы двигались, словно яркие бабочки в гербарии. Бархат, атлас, кружева, бриллианты, опалы и рубины — драгоценности вспыхивали при каждом движении. Мужчины в черных и темно-зеленых мундирах с ослепительными эполетами создавали строгий, мужественный фон для этого цветника. Свет — высший свет Российской Империи — собрался здесь во всей своей подавляющей мощи.

И над всем этим парил Он.

Мария заметила его не сразу. Она стояла в толпе, когда гул голосов внезапно стих, сменившись почтительным шепотом. Она повернула голову и увидела, как толпа расступается перед человеком, который, казалось, был единственным источником гравитации во всей этой вселенной.

Государь Император Николай Павлович.

Теперь, в парадном сиянии, он был совершенно иным существом, нежели на Невском проспекте. Там он показался ей солдафоном. Здесь он был полубогом. Его мундир цвета темного бутылочного стекла, идеально облегающий широкие плечи и узкие бедра, был шедевром портновского искусства. На груди, там, где сердце, сияла звезда ордена Андрея Первозванного, а через плечо тянулась муаровая лента. Эполеты на плечах — не просто знаки различия, а два каскада из густого золотого шитья и бахромы, в которых, казалось, запутался свет всех свечей. Его белые лосины обтягивали длинные, мускулистые ноги так откровенно, что это было почти неприлично, а черные лакированные ботфорты сияли, как зеркала. Но главное, что поразило Марию — это исходящая от него аура абсолютной, ничем не ограниченной власти. Его лицо, обрамленное темными, красиво уложенными волосами, было безупречно — высокий лоб, прямой нос, твердая линия рта под холеными усами. А глаза... Те самые светло-голубые глаза, которые на Невском обожгли ее холодом, теперь лучились совсем иным. В них плясали бесенята — умные, циничные, испытующие. Он обводил зал взглядом хозяина, и этот взгляд говорил каждой женщине: «Ты здесь для того, чтобы я тебя оценил». И от этого взгляда хотелось одновременно и спрятаться, и выйти вперед, под его лучи.

Рядом с ним, увы, не было Императрицы Александры Федоровны. Шепоток в толпе подтвердил слова Жюстины: Государыня снова на водах в Пруссии, лечит расшатанные нервы, и в этом сезоне балы будут исключительно «мужскими», насколько это возможно. Его взгляд был свободен, и он не спеша искал себе жертву.

И он нашел ее.

Их взгляды пересеклись. И в этот момент время словно загустело, как мед. В шуме бала, в море лиц образовался вдруг коридор молчания, в центре которого оказалась она. Мария почувствовала этот взгляд физически — жаркий, оценивающий, проходящий по ней, словно рука, от кончиков пальцев в атласных туфельках, по обнаженным рукам и шее, к лицу. Это был взгляд не просто мужчины. Это был взгляд коллекционера, внезапно нашедшего редкий экземпляр.

Он узнал ее. И его тонкие, красиво очерченные губы медленно, очень медленно изогнулись в улыбке. Это была улыбка тигра, заметившего лань.

Он направился прямо к ней, и толпа расступалась перед ним, как вода перед носом фрегата. Стук его каблучков по паркету звучал для Марии как шаги судьбы. Она видела, как теряется и бледнеет отец, как замирают дамы, провожая Императора взглядами. Государь шел, не замечая никого, и его глаза, светлые и обжигающие, были прикованы только к ней.

Мария, повинувшись инстинкту и гордости, сделала глубокий реверанс, опустив взгляд. Но он не дал ей этой маленькой победы.

— Поднимитесь, графиня, — произнес он, и его голос, низкий и рокоchущий, полный того самого «металлического» тембра, прокатился по всему залу, заставив умолкнуть даже музыкантов, настраивающих инструменты. — Я уже имел удовольствие лицезреть вашу колкость на Невском. Сегодня я желаю видеть ваши глаза.

Она поднялась. Щеки ее пылали.

— Ваше Величество, — ее голос чуть дрогнул, но она справилась. — Прошу простить мою тогдашнюю фривольность. Я была утомлена дорогой и не знала...

— Вы были восхитительны, — прервал он, и его слова были острее ножа. — Не портите впечатления извинениями. Вы сочли мои усы нелепыми, а мою страну дикой. Это было самое искреннее мнение, которое я слышал за последние пять лет. В моем окружении все только и делают, что поют дифирамбы. Ваша дерзость стала для меня глотком шампанского.

Он протянул руку, затянутую в белую перчатку. Перчатка была так идеально выделана, что сквозь нее проступали линии его сильных пальцев.

— Пройдемтесь. Я хочу показать вам Военную галерею двенадцатого года. Вам, француженке, это будет особенно... познавательно.

Это был приказ. Отец Марии, стоявший ни жив ни мертв, попытался было сделать шаг вперед, но один короткий, ледяной взгляд Императора пригвоздил его к месту вернее штыка. Государь предложил Марии руку, и ей не оставалось ничего, кроме как принять ее.

Его рука была твердой, как сталь, и неожиданно горячей. Она легла на ее пальцы, и Мария вновь ощутила исходящий от него запах — сложный, будоражащий, смесь дорогого табака, амбры и мускуса. Это был запах мужской силы, уверенной в себе и не терпящей отказа.

Они покинули бальную анфиладу под шепот, который тут же разлетелся по залу, как круги по воде. Военная галерея была пустынна, темна и холодна по сравнению с залитым светом залом. Лишь несколько свечей горели у входа, выхватывая из мрака бледные пятна лиц на огромных портретах. Здесь пахло старым деревом и историей — страшной историей, в которой предки этих русских генералов победили ее предков.

— Посмотрите на них, Мария, — произнес Государь, впервые назвав ее по имени, и от этой вольности у нее перехватило дыхание. — Они разбили вашего Бонапарта. Здесь, на этих стенах, — слава России.

Она молчала, не зная, что ответить. Он стоял к ней слишком близко. Она чувствовала жар его тела, видела, как в полумраке блестят его глаза.

— Но я привел вас сюда не ради урока истории, — продолжил он, и его голос понизился до интимного, вкрадчивого шепота. — Я привел вас, чтобы сказать: ваш бунт окончен. Вы перешли мои границы, mademoiselle де Метресс, и теперь вы на моей территории. Под моей властью.

Он медленно поднял руку и кончиком пальца, обтянутого белым шелком, коснулся ее подбородка, заставляя поднять голову. Прикосновение было легким, почти нежным, но от него по телу Марии пробежала дрожь. Не только страха — чего-то еще, темного и постыдного, что зародилось внизу живота.

— Вы дрожите, — констатировал он с довольной усмешкой. — Это хорошо. Значит, вы уже начинаете понимать правила игры.

— А если я откажусь играть? — прошептала Мария, и ее собственный голос показался ей чужим, тонким и жалобным.

— У вас нет такой возможности, — просто ответил Император. — Вы, французы, привыкли свергать королей. Но здесь Россия. Здесь самодержавие. И я — ваш Царь. Вы станете моей по доброй воле или по принуждению. Но добровольная капитуляция, поверьте, приносит куда больше... наслаждения.

Он убрал палец с ее подбородка, но его взгляд продолжал удерживать ее крепче любых оков. Он манипулировал ею, играл, как кошка с мышью, и делал это настолько виртуозно, что у Марии кружилась голова. Он был воплощением порока в самом эстетичном, пленительном его облики. Красивый мерзавец, уверенный, что весь мир принадлежит ему.

— Я... — начала она, но он не дал ей закончить.

— Тсс, — он приложил палец к своим губам, и этот жест был полон такого интимного обещания, что у Марии пересохло во рту. — Не нужно слов. Сейчас мы вернемся в зал. Вы подарите мне мазурку. А после бала... После бала мы продолжим наш разговор в более уединенном месте, где нет посторонних глаз и ушей. Это не просьба, Мари.

Он вновь предложил ей руку, и она, словно в тумане, приняла ее. Выходя из галереи в слепящий свет, она чувствовала себя не живым человеком, а марионеткой, нити от которой держит в своих красивых, сильных руках этот великолепный, ужасный мужчина.

Мазурка стала пыткой. Танцуя с ним, она была вынуждена касаться его рук, чувствовать, как твердый мускул перекачивается под сукном мундира, когда он вел ее в повороте. Его взгляд не отпускал ее ни на секунду, то обжигая страстью, то сверкая холодным расчетом. И Мария, к своему ужасу, поняла, что больше не просто боится. Она с упоением ждет продолжения. Той самой «добровольной капитуляции», которую он ей пообещал. Ибо он, словно искусный кукловод, уже пробудил в ней то, с чем она не могла совладать.

Когда бал подошел к концу и пары двинулись к разъезду, к Марии сквозь толпу протиснулся все тот же флигель-адъютант с каменным лицом.

— Графиня, — произнес он бесцветным голосом. — Его Императорское Величество ожидает вас в Малой гостиной. Следуйте за мной.

Отец, стоявший рядом, дернулся, словно от удара хлыста.

— Это невозможно! — протестующе начал он. — Моя дочь...

— Ваша дочь, — перебил его адъютант с ледяной вежливостью, — под защитой самого Государя Императора. Ей ничего не угрожает. Вам подадут карету, граф. Доброй ночи.

И Мария, с сильно бьющимся сердцем, отпустила руку отца и шагнула в неизвестность. Сейчас, через минуту, за ней захлопнется дверца золотой клетки. И виноват в этом был не только царь. Но и тот тайный, порочный огонь, что он так умело разжег в ее сердце.

Глава 3. Тайное пламя

Адьютант растворился в полумраке дворцового коридора так же бесшумно, как и появился, оставив Марию одну перед высокой, обитой малиновым штофом дверью. Она на мгновение замерла, прижав ладонь к груди, где бешено колотилось сердце. Сквозь толстую ткань платья и корсета она чувствовала его удары — частые, сильные, отдающиеся в висках. Ей вдруг вспомнился Париж, их особняк на улице Сент-Оноре, запах кофе с молоком по утрам и то чувство безопасности, которое теперь казалось раем. Как же далеко это всё было! Сейчас перед ней стояла дверь в иной мир, и она должна была войти в него с гордо поднятой головой.

Она толкнула дверь.

Малая гостиная оказалась вовсе не малой. Это была просторная комната, обтянутая тёмно-красным штофом с золотым тиснением, и в первый миг Марии показалось, что она попала внутрь драгоценной шкатулки. Тяжёлые портьеры из вишнёвого бархата, подхваченные витыми золотыми шнурами, полностью скрывали окна, отрезая комнату от внешнего мира. В огромном камине из чёрного мрамора пылал огонь, и его блики плясали на золочёной мебели, на пузатых китайских вазах, на инкрустированном перламутром столике, где стояли два бокала и графин с тёмной, густой жидкостью. Но главное, что приковало взгляд Марии — огромная кушетка, обтянутая алым бархатом, с резными подлокотниками в виде лебедей. Она стояла в алькове, чуть в тени, но именно она, казалось, была центром вселенной этой комнаты.

И перед камином, спиной к ней, заложив руки за спину, стоял Он.

Государь обернулся не сразу. Он дал ей несколько томительных секунд, чтобы она в полной мере ощутила его присутствие — широкий разворот плеч в тёмно-зелёном мундире, идеальную линию спины, то, как отсветы пламени путались в густых, чуть выющихся волосах. Затем он медленно, с той царственной неторопливостью, которая сама по себе была вызовом, повернулся. В его руке был бокал с вином, и он сделал глоток, не сводя с неё глаз.

— Вы пунктуальны, графиня, — произнёс он, и в голосе его послышалось одобрение, смешанное с лёгкой насмешкой. — Я ценю это качество. Особенно в женщинах.

— Во Франции, Ваше Величество, опоздание считается дурным тоном, — ответила Мария, делая шаг вперёд и стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Особенно когда приглашает король.

Он усмехнулся, и усы его чуть приподнялись, придавая лицу выражение хитрого, опасного довольства.

— Я не король, — поправил он её мягко, но с той стальной ноткой, которая не терпела возражений. — Я Император. Разница существенна. Королей, как вы сами знаете, можно свергать. Императоров — нет. По крайней мере, в России.

Он жестом указал ей на кресло у камина, обитое таким же вишнёвым бархатом. Мария, однако, не села. Она прошла чуть дальше, к столику, и позволила своим пальцам легко коснуться графина. Ей нужно было чем-то занять руки, чтобы скрыть их дрожь.

— Вы говорите о разнице в титулах так, будто это разница в природе, — сказала она, и её парижский акцент проступил ярче, выдавая волнение. — Но любой трон стоит на людях. И если люди решат...

— В России люди не решают, — перебил он, и на этот раз голос его прозвучал резче. Он шагнул к ней, и расстояние между ними сократилось до нескольких футов. — Здесь решаю я. Вам, француженке, трудно это понять. Вы привыкли к баррикадам, к крикам «Свобода!», к тому, что чернь может диктовать свою волю монарху. Здесь этого не будет никогда.

Она повернулась к нему лицом и встретила его взгляд. Вблизи, в полумраке, освещённый лишь пламенем камина, он был ещё более красив, чем в зале. Его глаза, сейчас казавшиеся почти чёрными, горели тем самым опасным, сексуальным огнём, от которого у Марии подкашивались ноги. Но она не собиралась сдаваться без боя.

— Значит, вы правите страхом? — спросила она, и в её голосе прорезалась та самая дерзость, которую он так ценил. — Это не сложно. Сложно править так, чтобы тебя не боялись, а уважали.

Он замер. На мгновение его брови сошлись на переносице, и Мария испугалась, что перешла черту. Но затем он вдруг расхохотался — коротким, низким смехом, в котором было больше удивления, чем гнева.

— Вы неисправимы, — сказал он, и в его голосе прозвучало почти восхищение. — Любая другая на вашем месте уже молила бы о пощаде. А вы продолжаете точить свой язычок даже сейчас. Это либо великая глупость, либо великая храбрость.

— Во Франции, — Мария позволила себе лёгкую, ироничную улыбку, — мы называем это умом. Возможно, в России для этого есть другое слово.

Он шагнул ещё ближе. Теперь их разделяло не больше фута. Мария чувствовала жар его тела, запах амбры и табака, видела каждую чёрточку его лица — резкую линию скул, твёрдый подбородок, губы, которые сейчас были чуть приоткрыты в хищной, многообещающей улыбке.

— В России, — произнёс он тихо, почти шёпотом, — это называется вызовом. А я, как вы могли заметить, не привык оставлять вызовы без ответа.

Он медленно, не торопясь, поднял руку и коснулся её плеча. Его пальцы, всё ещё в белой перчатке, скользнули по обнажённой коже над краем её бального платья — туда, где муар встречался с телом. Прикосновение было лёгким, как дуновение, но от него по телу Марии пробежала волна дрожи, и она почувствовала, как соски невольно сжимаются под тканью корсета.

— Вы дрожите, — констатировал он с довольной улыбкой. — Это страх? Или что-то другое?

— Возможно, в вашем дворце сквозняк, — парировала она, стараясь сохранять самообладание. — В Париже лучше топят.

— Ах, Париж! — он рассмеялся и убрал руку, но лишь для того, чтобы снять перчатки — медленно, одну за другой, не сводя с неё глаз. Его пальцы оказались длинными, сильными, с аккуратными ногтями, и Мария не могла отвести от них взгляда. — Всё время Париж. Вы, французы, носите его с собой как знамя. Но знаете, что я думаю? Вам нравится здесь. Вам нравится этот «холод» и эта «дикость». Потому что именно здесь вы впервые почувствовали себя живой.

Он снова коснулся её — на этот раз без перчаток, и прикосновение его тёплых пальцев к её коже было как удар тока. Он провёл рукой по её руке, от плеча до запястья, и взял её ладонь в свою.

— В Париже вы были одной из многих, — продолжил он, и его большой палец начал медленно, круговыми движениями массировать её ладонь. — Дочь графа, каких десятки. Здесь же... Здесь вы — та, кто осмелилась бросить вызов Императору. И это делает вас уникальной. Я это ценю. Я умею ценить редкости.

— Вы говорите обо мне как о вещи, — заметила Мария, но её голос предательски дрогнул, потому что его прикосновения становились всё более интимными, а его близость — всё более опьяняющей.

— А разве нет? — он наклонился к её уху, и его дыхание обожгло ей шею. — Все люди в моей империи — мои вещи. Но некоторые вещи мне особенно дороги. Вы станете одной из них, Мари.

Он произнёс её имя так, как не произносил никто — с растяжкой, смакуя каждый звук, и от этого по спине Марии пробежал холодок удовольствия. Она понимала, что он манипулирует ею, играет на её гордости и её страхах, но ничего не могла с собой поделать. Этот мужчина, этот красивый, опасный мерзавец, будил в ней то, о чём она и не подозревала. Желание. Тёмное, первобытное, не поддающееся контролю.

— Вы очень самоуверенны, — прошептала она, пытаясь сохранить остатки обороны.

— У меня есть на это право, — ответил он, и его губы коснулись её виска. — Я Император. И я хочу вас. А мои желания здесь — закон.

Он отстранился на мгновение и посмотрел ей в глаза. В его взгляде горел тот самый расплавленный огонь, который она заметила ещё на балу, но теперь к нему примешивалось что-то ещё — любопытство, интерес, почти мальчишеский азарт.

— Но я не хочу, чтобы вы были просто покорной, — сказал он. — Я хочу, чтобы вы продолжали дерзить мне. Чтобы вы смотрели на меня с вызовом. Чтобы каждый раз, когда я буду обладать вами, я чувствовал, что завоёвываю вас заново. Вы — мой маленький французский мятеж, и я не позволю этому мятежу угаснуть.

Он взял её лицо в свои ладони — нежно, но властно, и заставил её смотреть ему прямо в глаза.

— Сейчас вы станете моей. По-настоящему. И я хочу, чтобы вы запомнили эту ночь на всю жизнь. Не как ночь поражения, а как ночь, когда вы встретили равного себе.

И он поцеловал её.

Этот поцелуй не был похож на тот первый, в галерее. Там он был наказанием, демонстрацией силы. Здесь он был обещанием. Его губы, мягкие и горячие, двигались неторопливо, со знанием дела, и Мария, сама того не желая, ответила на поцелуй. Её руки, до того беспомощно висевшие вдоль тела, сами собой легли на его плечи, ощутив под пальцами твёрдость мускулов и мягкость бархата эполет.

Он целовал её долго, мучительно долго, пока у неё не закружилась голова, и только потом его руки начали путешествие по её телу. Он расстёгивал крючки на спине с ловкостью, говорившей о большом опыте, и тяжёлый муар платья соскользнул вниз, оставив её в корсете и нижних юбках. Он смотрел на неё, и в его глазах читалось откровенное, ничем не прикрытое восхищение.

— Вы прекрасны, — сказал он, и впервые за вечер в его голосе не было ни насмешки, ни расчёта. Только искренность. — Вы самое прекрасное, что я видел за долгое время.

Он взял её на руки — легко, будто она ничего не весила — и понёс к той самой алой кушетке в алькове. Уложил её на бархат, навис над ней, опираясь на руки, и их глаза снова встретились.

— А теперь, моя прелестная мятежница, — прошептал он, и его губы изогнулись в порочной усмешке, — покажите мне тот огонь, о котором вы столько говорили. Я хочу, чтобы вы горели для меня.

И Мария, графиня де Метресс, которую учили, что леди должна быть покорной и холодной, вдруг обвила его шею руками и притянула к себе.

— Только если вы не разочаруете меня, Ваше Величество, — выдохнула она ему в губы, возвращая ему его собственную дерзость. — Я слышала, русские медведи бывают очень неуклюжими.

Его смех — низкий, удивлённый, полный животной радости — стал последним звуком, который она услышала, прежде чем их тела сплелись на алом бархате, а за окнами дворца завывал ветер, и снег заметал следы их тайной встречи.

Глава 4. Шёлк и сталь

Пробуждение было мучительным и сладким одновременно. Мария открыла глаза и не сразу поняла, где находится. Над ней был не потолок съёмной квартиры на Большой Морской, а тяжёлый балдахин из тёмно-золотой парчи, ниспадающий крупными складками. Простыни под ней были шёлковыми, влажными и сбитыми в беспорядке, говорившем о бурной ночи. От подушки пахло мускусом и амброй — его запахом.

Она медленно села, придерживая у горла край простыни. Комната — та самая Малая гостиная — сейчас, в сером утреннем свете, пробивавшемся сквозь щель в портьерах, выглядела иначе. Камин погас, и в воздухе витал лишь слабый запах остывшего пепла. Канделябры оплавившись до основания. На полу валялось её серебристо-голубое платье, смятое и безжалостно брошенное, а рядом с ним — его белые перчатки. Две перчатки, лежащие на муаре, как немые свидетели её падения.

Его в комнате не было. Ушёл до рассвета, как и полагается Императору.

Мария откинулась обратно на подушки и закрыла глаза. Её тело болело — сладкой, тянущей болью, которая была ей прежде незнакома. Она вспоминала прошедшую ночь обрывками, как вспоминают сон: его губы на её шее, его властный шёпот, её собственный стон, сорвавшийся с губ против её воли. Она не просто уступила ему — она ответила. И от этого было горько и сладко одновременно.

Она дала себе ещё минуту — только одну минуту — полежать в этой золотой клетке, прежде чем надеть маску графини де Метресс и встретить новый день, который навсегда изменит её жизнь.

Возвращение домой было подобно похоронной процессии. Карета, присланная от дворца, мягко катила по заснеженным улицам Петербурга, и Мария смотрела в окно на бледное, словно разбавленное молоком, зимнее небо. Город казался притихшим и чужим. Даже шпили Адмиралтейства, обычно гордо пронзающие высь, теперь казались иглами, припigliвавшими её к этой холодной земле.

Жюстина ждала её в будуаре. Простая нормандская девушка, сама ещё почти дитя, она была верна своей госпоже той беззаветной преданностью, которую не купить ни за какие серебряные рубли. Увидев Марию — бледную, с тёмными кругами под глазами, в смятом платье, — она ахнула и бросилась к ней.

— Мадемуазель! — её голос дрожал. — Мадемуазель, что он с вами сделал? Я не спала всю ночь, я молилась... Говорят, он... говорят, с женщинами он...

— Тише, Жюстина, — Мария подняла руку, останавливая поток слов. Голос её был спокоен, даже холоден, но это спокойствие давалось ей огромным усилием. — Ничего, чего бы я не позволила. Помоги мне снять платье. Я хочу ванну. Горячую. Очень горячую.

Жюстина засуетилась, распуская шнуровку корсета, и пока её ловкие пальцы работали, Мария молча смотрела в зеркало. Из глубины серебряного стекла на неё глядела другая жен-

щина. Не та дерзкая девчонка, что смеялась над усами самодержца на Невском, а кто-то иной — взрослее, бледнее, с потемневшим, затаённым огнём во взгляде.

— Он был... — Жюстина запнулась, подбирая слово. — Он был жесток с вами?

Мария вспомнила его поцелуи, его шёпот, его смех — низкий, удивлённый, когда она дерзнула назвать его «русским медведем». Вспомнила, как он говорил: «Я хочу, чтобы вы горели для меня».

— Нет, — сказала она медленно. — Он был... прекрасен. И это, пожалуй, страшнее любой жестокости.

Отец ждал её в гостиной. Граф Франсуа де Метресс сидел в кресле у окна, прямой, как клинок, и его бледное лицо казалось высеченным из мрамора. Он не спал всю ночь — это было видно по его воспалённым глазам, по тому, как дрожали его руки, сжимавшие пустой бокал из-под хереса.

— Мари, — произнёс он, когда она вошла, уже переодетая в простое домашнее платье из тёмно-синей шерсти, без единого украшения, словно она пыталась спрятаться от самой себя. — Я должен спросить тебя, как отец. И я прошу у тебя прощения за этот вопрос.

— Не спрашивай, папá, — тихо ответила она, садясь напротив. — Ответ тебе не понравится.

Граф закрыл глаза. Его кадык дёрнулся, когда он сглотнул.

— Я знал, — прошептал он. — Я знал с того самого момента, как мы получили приглашение. Он посмотрел на тебя там, на Невском, так, как смотрят на добычу. И я, твой отец, ничего не мог сделать. Ничего.

— Ты не мог, — согласилась Мария. — Он Император. Ты сделал бы только хуже — себе и мне.

Они помолчали. За окном пошёл снег — крупный, пушистый, совсем не похожий на колючую январскую крупу. Он медленно падал на подоконник, укутывая город в белый саван.

— Я уеду, Мари, — сказал граф наконец, и его голос дрогнул. — Как только решатся дела с нашими бумагами, я уеду обратно в Париж. Теперь мне здесь не место. Я приехал искать стабильности и точного завтра, а нашёл... это. Я не могу оставаться и видеть, как...

Он не договорил.

— Я понимаю, папá, — Мария взяла его холодную, сухую руку в свои. — Ты должен ехать. Я не могу уехать — ты знаешь это. Но ты должен. Я не хочу, чтобы ты видел меня... такой.

— Ты ни в чём не виновата, — горячо возразил он. — Это он! Он, с его самодержавной властью, с его...

— Тш-ш-ш, — она приложила палец к его губам. — Здесь даже у стен есть уши, помнишь? Ты сам мне это говорил. Я останусь. Я справлюсь. Я графиня де Метресс, в конце концов.

Она улыбнулась, но улыбка вышла бледной, как зимнее солнце за окном.

Прошло три дня. Три дня тишины и ожидания. Мария почти не выходила из своей комнаты, коротая часы за чтением или разговорами с Жюстиной. Горничная стала для неё тем якорем, что удерживал её на плаву — слушала, не перебивая, подавала платок, когда подступали слёзы, и никогда не задавала лишних вопросов.

На четвёртый день тишина взорвалась.

За окнами послышался цокот копыт и скрип полозьев. Мария, отложившая томик Бальзака, подошла к окну и увидела, как к их подъезду подкатывает карета — не простая, а дворцовая, с золочёными вензелями на дверцах и двумя форейторами в ливреях. Через минуту в дверь постучали. Тот самый флигель-адъютант с каменным лицом, её молчаливый проводник в мир Императора, стоял на пороге с конвертом в руке.

— Её Сиятельству графине де Метресс, — произнёс он, вручая конверт. — От Его Императорского Величества. Также велено передать, что через час за вами придёт экипаж.

Он поклонился и исчез, прежде чем Мария успела что-либо спросить. Она открыла конверт. Внутри было письмо — короткое, написанное твёрдым, размашистым почерком на французском языке:

«Мари,

Вы хорошо послужили мне в ту ночь. Я не забываю тех, кто служит мне хорошо. Примите этот скромный дар как знак моего расположения. Сегодня вы увидите его сами.

N.»

Внизу был указан адрес — где-то на Английской набережной.

Через час, когда коляска, присланная из дворца, остановилась у трёхэтажного особняка с видом на Неву, Мария поняла, что значило слово «скромный» в устах Императора. Особняк был великолепен. Фасад из бледно-жёлтого камня, высокие венецианские окна, лепнина, изображающая гирлянды и амуров, и парадное крыльцо с мраморными ступенями, которые сейчас были устланы ковром, несмотря на снег. Словно в ожидании хозяйки.

Внутри дом был обставлен с той же вызывающей роскошью, что и Малая гостиная. Паркет из редких пород дерева, шёлковые обои, хрустальные люстры, каждая из которых стоила годового жалованья полка. В гостиной стоял рояль, инкрустированный перламутром, в будуаре — огромное зеркало в золочёной раме и туалетный столик, уставленный флаконами с духами и пудрами. А в спальне — кровать под балдахином из алого бархата, очень похожая на ту, что была во дворце.

— Господи, — выдохнула Жюстина, озираясь по сторонам с круглыми от изумления глазами. — Мадемуазель, это же целый дворец! Он что, подарил вам это? За одну ночь?

Мария молча прошла к окну и отодвинула портьеру. Из окна открывался вид на Неву, скованную льдом, и на серое небо, обещавшее новый снегопад. Внизу, у чёрного входа, суетились лакеи, таскавшие какие-то корзины — провизию, вино, цветы. Он продумал всё. Он посадил её в золотую клетку, но такую прекрасную, что из неё не хотелось вырываться.

— Это не подарок, Жюстина, — сказала она, не оборачиваясь. — Это цена.

Граф Франсуа де Метресс покинул Петербург через месяц. В начале февраля, когда морозы чуть ослабли, а день стал едва заметно длиннее, он сел в кибитку, нанятую до границы, и уехал. Мария провожала его на заставе, стоя на продуваемом всеми ветрами перекрёстке, и смотрела, как кибитка становится всё меньше и меньше, пока не превратилась в точку. Она не плакала. Все слёзы были уже выплаканы за эти дни — в подушку, в плечо Жюстины, в тишину будуара.

— Я люблю тебя, Мари, — сказал отец на прощание. — И я буду молиться за тебя каждую ночь. Может быть, когда-нибудь, когда всё изменится...

— Ничего не изменится, папá, — перебила она его мягко. — Но я буду рада твоим письмам. Пиши мне. Пиши, что в Париже всё по-прежнему, что Сена всё так же течёт, и что в кондитерской на углу всё так же подают лучший в мире шоколад. Это всё, что мне нужно.

Он уехал. И Мария осталась одна в этом огромном, роскошном, чужом доме. Одна — если не считать Жюстины и незримого присутствия того, кто приходил теперь каждую неделю, а иногда и чаще.

Их встречи стали регулярными. Он приезжал поздно вечером, когда его императорские дела были закончены, и уезжал до рассвета, чтобы никто не видел экипажа с вензелями у её крыльца. Впрочем, скрытность эта была игрой. Весь Петербург знал, что у Государя новая фаворитка. Знала даже Императрица Александра Фёдоровна, вернувшаяся с вод и встретившая новость с ледяным молчанием. Она умела не замечать того, чего не хотела видеть — это искусство было доведено ею до совершенства за годы брака.

Но пока Императрица молчала, двор гудел. На раутах и балах, куда Марию теперь приглашали непременно, за ней следили десятки глаз. Дамы обмахивались веерами и перешёптывались, мужчины оценивающе разглядывали её. Она была загадкой — француженка, покорившая сердце Императора дерзостью, а не покорностью.

И Николай, казалось, наслаждался этим. Он любил видеть её в свете, любил наблюдать за ней издали, когда она, окружённая любопытными, держалась с той самой французской лёгкостью, что так пленила его. Он подходил к ней не сразу — давал ей время побыть в центре внимания, а затем, словно невзначай, оказывался рядом, брал её под руку и уводил, демонстрируя всем, кому она принадлежит.

— Вы сегодня блистали, — сказал он ей однажды, когда они остались наедине после особенно шумного бала. — Эти дуры смотрели на вас, как на диковинного зверя, а вы даже бровью не повели.

— Я привыкла к вниманию, — ответила Мария, распуская волосы перед зеркалом. — В Париже на меня тоже смотрели. Правда, там это было из-за моих платьев, а здесь — из-за моего любовника.

Он рассмеялся и подошёл к ней сзади, положив руки ей на плечи.

— Вам не нравится быть моей любовницей?

— Мне не нравится быть вещью, — она встретила его взгляд в зеркале. — Вы говорили, что я — редкость. Но редкости обычно пылятся на полке.

Он развернул её к себе и поцеловал — властно, требовательно, так, что у неё перехватило дыхание.

— Вы не на полке, Мари, — прошептал он, оторвавшись от её губ. — Вы на троне. Моём троне. И пока я этого хочу, вы будете на нём сидеть.

Она ничего не ответила. Она уже научилась различать оттенки его настроения — когда можно дерзить, а когда лучше промолчать. Сейчас был тот самый случай. В его глазах, ещё минуту назад смеявшихся, появился холодный блеск, который она научилась бояться. Блеск, обещавший бурю.

Но буря пока не разразилась. Он был нежен с ней в ту ночь — так нежен, как умеют быть только очень сильные мужчины, когда хотят напомнить, что нежность — это тоже форма власти.

Весна 1833 года принесла новость, которая изменила всё. Однажды утром, когда Мария, по обыкновению, не могла даже смотреть на еду, Жюстина, заметив это, вдруг округлила глаза.

— Мадемуазель, — прошептала она, — простите мою дерзость, но... когда у вас последний раз были...

Мария замерла с чашкой чая в руке. Она не вела счёт дням — слишком много всего случилось за эти месяцы. Но сейчас, когда Жюстина спросила, она вдруг осознала. Да. Срок прошёл. Уже давно.

— Пошли за доктором, — сказала она бесцветным голосом. — Только тихо. Без огласки.

Доктор, пожилой немец с холодными пальцами и профессионально-бесстрастным лицом, подтвердил диагноз, который она уже знала сама. Она носила ребёнка. Ребёнка Императора.

Когда она сообщила эту новость Николаю, он впервые при ней потерял своё обычное самообладание. Он замер на мгновение, а затем его лицо осветилось такой искренней, почти мальчишеской радостью, что Мария на миг увидела в нём не самодержца, а просто мужчину, которому сообщили, что он станет отцом.

— Сын? — спросил он, и в его голосе прозвучала надежда.

— Этого пока никто не знает, — улыбнулась Мария. — Может быть, дочь.

— Сын, — повторил он твёрдо, будто отдавал приказ. — У меня уже есть наследник от Александрины, но этот будет... другим. Он будет носить имя моего отца. Павел. Если родится сын, назовём его Павлом.

Он обнял её — так крепко, что у неё перехватило дыхание, и в этом объятии была не только радость, но и что-то ещё. Собственничество. Он обнимал её теперь не просто как любовницу, а как мать своего будущего ребёнка — и это делало её ещё более ценной вещью в его коллекции.

Беременность проходила тяжело. Мария плохо ела, плохо спала, её мучили головные боли и постоянная тошнота. Жюстина не отходила от неё ни на шаг, поила травяными отварами, читала вслух французские романы, чтобы отвлечь от тёмных мыслей. Дом на Английской набережной погрузился в тишину, нарушаемую лишь визитами докторов да редкими, но бурными появлениями Императора.

Он приезжал теперь не за страстью — за утешением. Садился у её постели, клал руку на её живот и рассказывал о государственных делах, о бунтах, которые нужно подавлять, о политических интригах, которые нужно распутывать. Мария слушала его и чувствовала странную двойственность. Он был нежен, заботлив, почти любящ. И именно эта нежность пугала её больше, чем всё остальное. Потому что она знала: за нежностью скрывается сталь. Рано или поздно сталь покажется вновь.

В ноябре 1833 года, в час, когда над Петербургом завывала метель, а Нева уже сковалась льдом, Мария родила. Роды были долгими, мучительными, на грани жизни и смерти. Жюстина держала её за руку, доктор командовал повитухами, а Мария, теряя сознание от боли, видела перед собой лицо отца, парижские улицы, залитые солнцем, и два пронзительно-голубых глаза, которые когда-то посмотрели на неё сквозь снег Невского проспекта.

Когда она очнулась, доктор с поклоном сообщил:

— Мальчик, Ваше Сиятельство. Здоровый, крепкий мальчик. Кричит так, что стёкла дрожат.

Вошёл Николай. Ему доложили немедленно — он примчался, невзирая на метель и поздний час. Он взял младенца на руки, и Мария, наблюдавшая за ним сквозь полуприкрытые веки, увидела на его лице выражение, которого не видела прежде. Торжество. Чистое, ничем не замутнённое торжество обладателя.

— Павел, — произнёс он, глядя на сморщенное личико младенца. — Павел Николаевич. Мой сын.

Он повернулся к Марии, и в его глазах блеснуло что-то похожее на благодарность.

— Вы подарили мне сына, Мари, — сказал он. — Я этого не забуду.

Она слабо улыбнулась в ответ. Она была слишком измучена, чтобы говорить, слишком опустошена, чтобы что-либо чувствовать. Но где-то глубоко внутри, в том месте, где ещё теп-

лилась её прежняя, парижская душа, она понимала: он запомнит это не как подарок. Он запомнит это как её обязанность. Потому что для Императора Всероссийского всё, что делают для него другие — это не дар, а должное.

И она была права. Но это понимание придёт к ней позже, гораздо позже, когда золото клетки окончательно превратится в сталь.

Глава 5. Падение в сталь

Глава 5. Падение в сталь

Второй год её заточения в золотой клетке начался с надежды.

К лету 1834 года Мария, казалось, почти смирилась со своей участью. Особняк на Английской набережной перестал быть чужим; его стены, обитые лионским шёлком, впитали запах её духов — фиалки и белый мускус, — и тихие звуки колыбельной, что она пела маленькому Павлу. Мальчик рос крепким, требовательным, с отцовскими пронзительными глазами и материнской улыбкой. Мария обожала его с той исступлённой нежностью, на какую способна лишь женщина, лишённая всего остального.

Жюстина, верная Жюстина, всё так же была рядом — она шила крошечные распашонки, поправляла подушки, когда госпожа чувствовала слабость, и безошибочным чутьём простой нормандской девушки угадывала те минуты, когда Марии требовалось не присутствие, а тишина. Иногда по вечерам они сидели вдвоём в будуаре, при свете единственной свечи, и Жюстина расчёсывала волосы Марии долгими, плавными движениями, а та, закрыв глаза, вспоминала Париж. Не баррикады и выстрелы — а запах круассанов по утрам, шум дождя по мансардной крыше, голос отца, читающего Вольтера в их маленькой гостиной.

Государь приезжал часто, иногда трижды в неделю. После рождения сына он словно заново открыл для себя Марию — уже не как дерзкую завоеванную француженку, а как мать своего ребёнка, вместилище его продолжения. Его подарки становились всё изысканнее: нитка чёрного жемчуга с островов Таити, брошь в виде двуглавого орла, усыпанная алмазами, шкатулка розового дерева с любовными записками, которые он писал ей на французском — изящным, почти поэтическим слогом. В одну из ночей он привёз ей модный парижский роман, только что доставленный дипломатической почтой — сам, лично, передал в руки, наблюдая за её реакцией с той затаённой, тёплой усмешкой, от которой у Марии когда-то подкашивались ноги.

— Чтобы вы не забывали родину, — сказал он тогда. — Хотя, признаюсь, я предпочёл бы, чтобы вы забыли её навсегда и помнили только меня.

— Родину забыть невозможно, Ваше Величество, — ответила она, целуя его в щёку. — Но вы делаете всё, чтобы я не скучала по ней слишком сильно.

Она почти убедила себя, что счастлива. Почти.

А потом случился тот самый вечер.

Был ноябрь 1834 года — холодный, ветреный, с ледяной крупой, барабанившей в окна. В доме на Английской набережной топили жарко, и в камине потрескивали берёзовые поленья, наполняя гостиную ароматом дыма и смолы. Мария сидела в кресле у огня, закутанная в шаль из оренбургского пуха, и наблюдала, как Жюстина заканчивает вышивку на детском чепчике — крошечные маргаритки, обещание весны среди зимы.

Маленького Павла только что унесли в детскую, и в доме царил та особенная, уютная тишина, какая бывает лишь когда спит младенец. Мария потянулась за бокалом разбавленного вина — доктор велел ей пить его для укрепления крови — и в этот момент в дверь громко, требовательно постучали.

Она вздрогнула. Он никогда не приезжал без предупреждения. За два года их связи всё было выверено, как часовой механизм: записка накануне, экипаж к полуночи, час страсти и тихий отъезд до рассвета. Сейчас же было едва за девять, и стук раздался в парадную дверь — громкий, властный, не терпящий промедлений.

— Открой, — бросила Мария, и Жюстина, побледнев, поспешила в прихожую.

Через минуту она вернулась, и её лицо было бледнее мела.

— Мадемуазель, — прошептала она, запинаясь. — Там... Его Величество. Он... я никогда не видела его таким. Глаза у него... страшные.

Мария встала, чувствуя, как холодок бежит по спине, не имеющий ничего общего со сквозняком. Она поправила шаль, одёрнула рукава домашнего платья из тёмно-бордового бархата и вышла в прихожую.

Он стоял в дверях, не сняв шинели, и с его плеч капал растаявший снег. За его спиной маячили два адъютанта — не тот, обычный, с каменным лицом, а другие, незнакомые, с выражениями брезгливого любопытства. И сам он был другим. Его лицо, всегда сохранявшее властное спокойствие, сейчас было искажено. Желваки ходили на скулах, ноздри раздувались, а глаза — те самые светло-голубые глаза, что когда-то смотрели на неё с расплавленной нежностью, — теперь горели ледяным, бешеным огнём.

— Ваше Величество, — Мария сделала реверанс, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Я не ждала вас сегодня. Что-то случилось?

— Что случилось? — переспросил он, и его голос, всегда рокошующий и глубокий, сейчас прозвучал как удар хлыста. Он шагнул вперёд, и Мария инстинктивно отступила. — Я скажу вам, что случилось.

Он выхватил из-за обшлага смятый листок бумаги. Мария узнала его — это был бланк французского посольства, с водяными знаками в виде галльского петуха.

— Мне доставили это час назад, — произнёс он, и каждое слово падало, как камень. — Письмо от вашего драгоценного французского посла. Он имел наглость передать мне просьбу — просьбу! — от имени французского короля Луи-Филиппа. Ходатайство за некоего республиканца, бывшего соратника вашего отца, который был арестован на границе по подозрению в шпионаже. И знаете, в чём была суть просьбы? Чтобы я, Император Всероссийский, отпустил этого государственного преступника из уважения к вам. К вам!

Он скомкал письмо в кулаке с такой силой, что костяшки пальцев побелели.

— Мои враги уже используют вас, Мари! — прорычал он. — Мои враги говорят, что Император настолько ослеплён французской потаскухой, что через неё можно вершить политику! Вы понимаете, что это означает? Вы понимаете, какой это позор для меня?

— Ваше Величество, я ничего не знала об этом письме, — Мария говорила быстро, пытаясь удержать самообладание, но голос её предательски дрожал. — Я не поддерживаю связей с посольством, я не...

— Молчать! — рявкнул он так, что Жюстина, стоявшая в углу, вскрикнула и зажала рот рукой. — Вы — моя! Вы принадлежите мне целиком, с потрохами, и никто — слышите, никто! — не смеет использовать ваше имя, чтобы влиять на мои решения!

Он схватил её за плечо — грубо, без тени прежней нежности, и его пальцы, словно стальные крюки, впились в нежную кожу над ключицей. Мария вскрикнула от боли.

— Вы делаете мне больно, — прошептала она.

— Больно? — он коротко, зло рассмеялся. — Вы ещё не знаете, что такое больно, моя дорогая. Но сейчас узнаете.

Он развернулся к адъютантам и бросил им короткий приказ:

— Оба — вон. Ждите в карете. И чтобы ни звука.

Когда дверь за ними закрылась, он вновь повернулся к Марии. В гостиной, освещённой лишь пламенем камина, они остались вдвоём — и в этой тишине было что-то невыразимо жуткое. Мария попятилась, выставив перед собой руки, но он наступал — медленно, неумолимо, как грозная туча.

— Я дал вам всё, — произнёс он, и его голос стал тихим, почти шёлковым, отчего сделалось ещё страшнее. — Я поднял вас из грязи, из ссылки, из ничтожества. Я одел вас в шелка, я осыпал бриллиантами, я подарил вам сына. Я, Император, ползал перед вами на коленях, как мальчишка, потому что вы — вы! — показались мне особенной. А вы... вы просто такая же, как все. Думаете только о себе, плетёте интриги за моей спиной, позорите меня перед всем светом.

— Я не плела интриг! — выкрикнула Мария, и слёзы брызнули из её глаз. — Клянусь Богом, я ничего не знала о письме! Я не общалась с послом! Спросите Жюстину — я не выходила из дома уже неделю!

— Ваша служанка скажет то, что вы ей прикажете, — отрезал он. — Меня не интересуют ваши оправдания. Меня интересует, чтобы вы запомнили раз и навсегда: вы — моя собственность. И если я захочу вас наказать, я накажу. И никто — ни ваш французский король, ни ваш отец, ни сам Господь Бог — мне не указ.

Она не успела ни ответить, ни отступить. Его рука взлетела и обрушилась на её лицо с такой силой, что Мария отлетела в сторону, ударившись плечом о резной угол каминной полки. Боль была ослепительной, мгновенной, затмившей весь мир. В ушах зазвенело, во рту появился солёный, металлический вкус крови. Она прижала ладонь к разбитой губе и посмотрела на него

снизу вверх, всё ещё не веря. Её Государь, её пленительный красавец-мерзавец, её любовник — тот, кто ещё вчера шептал ей на ухо нежности и читал Бальзака у её постели, — ударил её.

— Встань, — приказал он.

Она не могла пошевелиться. Тогда он схватил её за волосы — за те самые длинные, золотисто-каштановые волосы, которые так любил перебирать пальцами после любовных утех, — и рывком поднял на ноги. Мария закричала, но он не обратил на крик никакого внимания. Его глаза, совершенно безумные, смотрели сквозь неё.

— Ты будешь знать своё место, — прошипел он ей в лицо. — Ты будешь помнить, кто твой хозяин. И если до тебя не доходит с лаской — дойдёт через силу.

Он ударил её снова — наотмашь, по другой щеке. Затем ещё раз — кулаком в живот, так что она согнулась пополам, хватая ртом воздух и не в силах вдохнуть. Её колени подогнулись, и она рухнула на пол, прижимая руки к животу и беззвучно, страшно всхлипывая. Но он не остановился. Его ярость, долго копившаяся где-то в тёмных глубинах его души, вырвалась наружу, и теперь он не мог — или не хотел — её контролировать.

Он схватил её за шиворот, оторвал от пола и швырнул на кушетку — ту самую кушетку, обитую алым бархатом, что стояла в алькове гостиной, так похожая на ту, из Малой гостиной Зимнего. Здесь они когда-то занимались любовью — нежно, страстно, со стонами и шёпотом. Теперь же он навалился на неё сверху, прижимая к бархату лицом, и его пальцы стальным обручем сомкнулись на её запястьях.

— Ты примешь это, — прорычал он ей в ухо. — Ты примешь это, и ты будешь благодарна. Потому что без меня ты — ничто. Ты — французская эмигрантка, дочь разорившегося графа, беглянка без титула и чести. Я дал тебе всё, и я могу всё забрать. Помни об этом.

Он взял её там же, на кушетке, грубо, безжалостно, не обращая внимания на её рыдания, на её дрожащее тело, на кровь, всё ещё сочившуюся из разбитой губы и пачкавшую бархат. Это было не любовью. Это было наказанием. Демонстрацией силы. Утверждением власти над сломленной, уничтоженной женщиной, которая ещё час назад думала, что она — почти счастлива.

Когда всё закончилось, он встал и поправил мундир. Его дыхание было тяжёлым, но лицо уже успокаивалось, принимая то самое выражение холодного, отстранённого величия, с которым он появлялся на парадах. Мария осталась лежать на кушетке — скорчившись, сжавшись в комок, как раненый зверёк. Её плечи вздрагивали от беззвучных рыданий. Она не могла ни говорить, ни думать, ни даже чувствовать что-либо, кроме всепоглощающей, чёрной, бездонной боли.

Он взял с каминной полки бокал с вином — тем самым, разбавленным, что она приготовила для себя, — и сделал глоток.

— Завтра я пришлю врача, — произнёс он будничным тоном, словно ничего не произошло. — Скажете, что упали с лестницы. Это обычная история, все поверят. И запомните: если хоть одна душа узнает о том, что здесь случилось, вы больше никогда не увидите своего сына. Он будет воспитываться в корпусе, вдали от вас, и вы не сможете даже писать ему. Это я вам обещаю.

Она не ответила. У неё не было голоса.

Он допил вино, поставил бокал и направился к двери. У порога задержался, бросив на неё последний взгляд — короткий, оценивающий, лишённый и тени сожаления.

— И приведите себя в порядок, — добавил он. — В пятницу вы будете сопровождать меня на раут к австрийскому послу. Я хочу, чтобы вы сияли.

Дверь закрылась.

Мария осталась одна.

Тишина в гостиной была такой глубокой, что она слышала собственное сердцебиение — неровное, испуганное, как у пойманной птицы. Она лежала на бархате, чувствуя, как саднит разбитая губа, как пульсирует боль в скуле, как ноет живот, в который пришёлся удар. Но сильнее физической боли была боль другая — та, что поселилась в груди, разрывая её изнутри. Боль предательства. Боль крушения всех иллюзий. Боль от осознания того, что человек, которого она — Господи, помоги ей! — почти полюбила, оказался чудовищем.

Она не знала, сколько прошло времени — минуты или часы. В какой-то момент дверь скрипнула, и в комнату проскользнула Жюстина. Увидев свою госпожу, распростёртую на кушетке в разорванном платье, с лицом, залитым слезами и кровью, она ахнула и бросилась к ней.

— Мадемуазель! Господи, мадемуазель! — её руки дрожали, когда она попыталась приподнять Марию. — Что он с вами сделал? Я сейчас... я позову доктора... я...

— Нет, — голос Марии был едва слышен, но твёрд. — Никакого доктора. Он пришлёт своего. Скажем, что я упала с лестницы.

— Но мадемуазель...

— Скажем, что я упала с лестницы, — повторила Мария. — И ты никогда, никому, ни под какими пытками не расскажешь правду. Поклянись.

Жюстина, рыдая, поклялась.

Вдвоём они кое-как подняли Марию и довели до спальни. Жюстина смочила полотенце в холодной воде и приложила к распухающей скуле, затем осторожно обмыла разбитую губу. Мария терпела, не издавая ни звука, и только слёзы — безмолвные, отчаянные — всё текли и текли по её щекам.

Когда боль чуть притупилась, и Мария смогла говорить, она повернулась к Жюстине и произнесла — тихо, но с такой горечью, что у горничной сердце разорвалось:

— Знаешь, Жюстина... я думала, что он — моя судьба. Мой мучитель, но и моя судьба. Я думала, что, если я буду достаточно хороша, если я буду сиять для него, если я рожу ему детей... он станет добрее. Он оценит. Он полюбит меня по-настоящему.

Она замолчала, глядя в потолок сухими, воспалёнными глазами.

— Но он не может любить, — продолжила она. — Он может только владеть. И я... я для него — вещь. Трофей, который иногда полезно проучить, чтобы знал своё место.

— Мадемуазель, — прошептала Жюстина, сжимая её холодную руку. — Мы должны бежать. Тайком, через границу...

— Куда? — Мария горько усмехнулась и тут же поморщилась от боли в разбитой губе. — Во Францию? К кому? Отец разорён, наши друзья расстреляны или в изгнании. В Австрию? В Пруссию? Везде меня найдут его руки. Его власть не заканчивается на границе. Ты не понимаешь — он Император. Он может всё.

Она закрыла глаза.

— У меня нет выхода, Жюстина. У меня есть только мой сын. И если я хочу видеть, как он растёт, я должна терпеть. Терпеть и молчать. И улыбаться, когда он захочет меня видеть «сияющей».

Она замолчала, и в спальне воцарилась тишина. Только за окнами выл ветер, да где-то вдалеке, за Невой, били куранты Петропавловской крепости — размеренно, тягуче, словно отсчитывая оставшиеся ей дни в этой золотой клетке.

А через два месяца, в январе 1835 года, когда синяки на лице сошли, а на душе остались незаживающие рубцы, Мария поняла, что снова беременна. И на этот раз, глядя на своё отражение в зеркале — на бледное лицо, на потухшие глаза, на тонкую нитку шрама у виска, который она прятала под кружевным чепцом, — она не почувствовала ни радости, ни надежды.

Только холод.

Только сталь.

Глава 6. Пепел и искры

Рожать во второй раз было не легче, а тяжелее.

Осенним вечером 1835 года, когда над Невой висела мутная, промозглая мгла, а ветер с залива швырял в окна пригоршни ледяной воды, особняк на Английской набережной снова наполнился криками. Но на этот раз кричала не роженица. Кричала Жюстина, командовавшая повитухами; кричал младенец, едва появившись на свет; кричал доктор, требуя горячей воды и чистых простыней. Мария же молчала. Она была в сознании, она сжимала зубы до скрежета, и только по её бледному, как мрамор, лицу градом катился пот. Она научилась терпеть.

— Девочка, Ваше Сиятельство, — объявил доктор, и в его голосе слышалось облегчение пополам с опаской. Опаской — потому что он знал: от Императора ждали второго сына.

Мария, едва живая, протянула руки к свёртку. Крошечное, сморщенное личико, тёмный пушок на головке, беззубый, отчаянный крик. И вдруг — тишина. Девочка замолчала, почувствовав тепло материнских рук, и открыла глазки — тёмные, глубокие, совсем не похожие на отцовские.

— Моя, — прошептала Мария, и в этом слове было всё: и любовь, и боль, и отчаянная решимость. — Ты моя, а не его.

Император приехал через день. Он вошёл в детскую, где Мария кормила малышку, и его лицо выражало сложную гамму чувств. Он был разочарован — Мария видела это по тому, как дрогнули его брови при взгляде на розовые пелёнки. Но он был и доволен — потому что ещё одна его собственность, ещё одно доказательство его мужской силы появилось на свет.

— Александра, — произнёс он, не спрашивая её мнения. — В честь Императрицы.

Мария подняла на него взгляд. В честь Императрицы. В честь его законной супруги, которая знала о её существовании и молча терпела. Назвать внебрачную дочь в честь жены — это была не честь. Это было клеймо. Ещё один способ указать им обоим их место.

— Как вам будет угодно, Ваше Величество, — ответила она ровно, без эмоций. Она давно поняла, что спорить с ним можно только в одном случае — если он сам хочет спора. Во всех остальных случаях спор кончался синяками.

Он подошёл ближе, взял её за подбородок и приподнял лицо к свету. Его глаза, холодные и испытующие, скользнули по её чертам, словно искали что-то.

— Вы хорошо справились, — сказал он наконец, и это прозвучало как оценка слуге. — Я доволен.

Он наклонился и поцеловал её в лоб. В этом поцелуе не было ни нежности, ни любви, ни страсти — только ритуал. Благословение хозяина.

— Когда поправитесь, — добавил он уже от дверей, — мы поедем на воды. Вам нужно вернуть форму.

И ушёл. А Мария осталась сидеть с дочерью на руках, и в груди её медленно, неотвратимо что-то умирало.

Прошло три года. Три долгих, серых, похожих один на другой года.

Павел рос крепким, живым мальчиком, с отцовской властностью во взгляде и материнской улыбкой. Ему уже наняли гувернёра-француза, и он с удовольствием учил русский и французский, поражая всех своей сообразительностью. Александра, напротив, была тихой, задумчивой, и Мария видела в ней себя — ту, прежнюю, парижскую, ещё не сломенную.

Дети стали единственным светом в её жизни. Ради них она просыпалась по утрам, ради них улыбалась, когда приходили гости, ради них терпела визиты Императора — теперь редкие, но оттого не менее страшные. Он стал холоднее. Если раньше он хотя бы играл в страсть, то теперь не утруждал себя даже этим. Он приходил, брал то, что считал своим, и уходил. Иногда — молча. Иногда — бросая ей короткие, ничего не значащие фразы о погоде, о политике, о том, что она снова плохо выглядит.

Жюстина оставалась её ангелом-хранителем. Она научилась угадывать настроение Государя по звуку его шагов на лестнице, знала, когда нужно спрятать детей в дальних комнатах, а когда — подать Марии нюхательную соль, чтобы та не упала в обморок от напряжения. По вечерам, когда дом затихал и дети засыпали, они вдвоём сидели в будуаре, и Мария, глядя в огонь камина, иногда позволяла себе вспоминать вслух.

— Помнишь, Жюстина, — говорила она тихо, — как мы приехали в Петербург? Какой он мне показался холодным, серым, чужим? Я тогда думала, что это самое страшное — жить в чужой стране, без друзей, без будущего. Какая же я была глупая.

Жюстина ничего не отвечала, только прижималась щекой к руке госпожи, и в её глазах стояли слёзы.

— Самое страшное, — продолжала Мария, — это когда чужой становится тот, кого ты... к кому ты... Нет, не любила. Я не любила его, Жюстина. Но я верила ему. Я верила, что за этой властью, за этой сталью есть что-то человеческое. А там ничего нет. Только пустота. И холод. Такой же, как этот город.

Она замолкала, и в тишине было слышно только, как потрескивают дрова в камине да где-то далеко, за Невой, бьют куранты.

Конец 1838 года принёс новое испытание. Не физическое — моральное.

На Рождественском балу в Зимнем, куда Мария была приглашена как... никто не знал, как именно. Не фрейлина, не гостья, не супруга. Просто «графиня де Метресс», и этого было

достаточно, чтобы перед ней распахивались двери, а за спиной шептались. Так вот, на этом балу Император впервые появился вместе с Императрицей.

Александра Фёдоровна, бледная, хрупкая, с усталой улыбкой, была само олицетворение достоинства. Она знала, кто такая Мария, и Мария знала, что она знает. Весь зал замер в ожидании скандала. Но Императрица лишь скользнула по ней равнодушным взглядом и отвернулась. Для неё Мария была пустым местом. Очередной «слабостью» мужа, которую нужно перетерпеть, как терпят мигрень или скучную оперу.

А потом Государь, на глазах у всего двора, подошёл к Марии и пригласил её на мазурку. Не жену. Её. И это был самый страшный момент в её жизни. Потому что весь зал смотрел на неё — кто с презрением, кто с жалостью, кто с жадным любопытством. Она была клеймёной. Изуродованной не физически — душевно. И он наслаждался этим. Он выставил её напоказ, как дорогую игрушку, чтобы доказать всем, что он может всё.

Мария танцевала, как автомат, с застывшей улыбкой на лице, и чувствовала, как горят её щёки под слоем пудры. После бала, уже в карете, она дала волю слезам — впервые за много месяцев. Жюстина молча обняла её, и они так и ехали через ночной Петербург — две женщины, прижавшиеся друг к другу, словно сироты в бую.

Так прошло ещё два года. Дети подрастали. Павлу было уже шесть, он вовсю читал и писал, и Государь, к удивлению Марии, проявлял к нему интерес — навещал раз в месяц, проверял успехи, дарил книжки и оловянных солдатиков. Александру он почти не замечал.

Мария научилась жить с той пустотой, что поселилась внутри неё. Она больше не плакала, не жаловалась, не строила планов побега. Она просто существовала — как дорогая кукла в роскошном особняке, выполняющая свои функции. Улыбаться на приёмах, принимать подарки, терпеть ласки. Дети, книги, редкие письма от отца — вот и вся её жизнь.

Но судьба, словно издеваясь над её смирением, готовила новый поворот.

Это случилось в феврале 1841 года. Стояли крещенские морозы, и Петербург превратился в хрустальную сказку: деревья в инее, небо высокое, бледно-голубое, и солнце, отражающееся от снега так ярко, что слепило глаза. Мария, закутанная в шубу из чернубурки, прогуливалась по Невскому проспекту в сопровождении Жюстины. Ей нужно было в книжную лавку — она заказала новый роман Жорж Санд из Парижа, и продавец прислал записку, что книга прибыла.

Она шла, вдыхая морозный воздух и чувствуя почти забытое ощущение лёгкости. Дети были здоровы, Государь отбыл на военные манёвры в Царское Село, и у неё были целых две недели свободы. Настоящей свободы — без его визитов, без страха, без унижений.

Она уже возвращалась из лавки, прижимая к груди драгоценный том, когда случилось это.

У поворота на Большую Морскую её вдруг сильно толкнули в спину. Мария пошатнулась и едва не упала, но чьи-то руки — сильные, надёжные — подхватили её и удержали. Она подняла голову, готовая разразиться гневной тирадой на французском, и замерла.

Перед ней стоял мужчина. Высокий, широкоплечий, в форме конногвардейца — тёмно-синий мундир с алым лацканом, серебряные эполеты, безупречно сидящие рейтузы. Но форма была не главным. Главным было его лицо — открытое, мужественное, с чёткой линией подбородка, прямым носом и усами, которые не топорщились воинственно, как у Императора, а мягко обрамляли губы. И глаза. Серые, тёплые, с лучиками морщинок в уголках — глаза человека, который привык смеяться.

— Прошу прощения, сударыня! — произнёс он по-русски, но с таким мягким, певучим выговором, что Мария сразу поняла: он из провинции, из старинного дворянского гнезда, где ещё говорят на французском и читают стихи. — Вы не ушиблись? Эти извозчики совсем совесть потеряли!

— Ничего, — ответила она, пытаясь восстановить дыхание. — Благодарю вас, вы очень любезны.

Она хотела продолжить путь, но он вдруг задержал её — не рукой, нет, просто взглядом, в котором промелькнуло что-то странное. Узнавание? Изумление? Она не поняла.

— Позвольте представиться, — сказал он и, сняв кивер, склонил голову в лёгком поклоне. — Граф Пётр Алексеевич Александров, конногвардейский полк Её Величества. А вы...

Он вдруг осёкся. Видимо, сообразил, кто перед ним — графиня де Метресс была известна всему Петербургу. Мария внутренне сжалась, ожидая обычной реакции: либо ледяной вежливости, либо пренебрежения. Но ни того, ни другого не последовало. В его серых глазах она увидела только одно — участие. Искреннее, тёплое, человеческое участие.

— Графиня де Метресс, — представилась она, стараясь, чтобы голос звучал нейтрально. — Благодарю вас за помощь, граф.

— Это я должен благодарить судьбу, — ответил он, и в его голосе не было ни лести, ни фальши. — За то, что она позволила мне оказаться рядом в нужный момент.

Мария вдруг поймала себя на том, что улыбается. Не той заученной, фальшивой улыбкой, которую она надевала на раутах, а настоящей — робкой, неуверенной, но живой. Это было так странно и так непривычно, что она почти испугалась.

— Вы очень добры, — пробормотала она и быстро, не оглядываясь, пошла прочь, увлекая за собой Жюстину.

Граф Александров остался стоять на заснеженном тротуаре, провожая её взглядом. И в этом взгляде было что-то, чего Мария не видела уже много лет — не вожеление, не любопытство, не холодный расчёт. А просто... восхищение. Чистое, искреннее восхищение женщиной, которую он только что увидел впервые.

— Мадемуазель! — Жюстина догнала её и зашептала, запыхавшись. — Вы видели, как он на вас смотрел? Это же... это же...

— Молчи, — оборвала её Мария, но в голосе её не было резкости. — Ничего это не значит. Просто случайная встреча. Ничего больше.

Но сердце её, до этого бившееся ровно и устало, вдруг застучало чаще. И впервые за долгие-долгие годы она почувствовала, как где-то глубоко внутри, под слоем пепла, тихо, робко, но неудержимо начинает теплиться искра.

Она не знала тогда, что эта искра разгорится в пламя. Не знала, что случайная встреча на Невском — это первый акт того самого спасения, о котором она даже не смела мечтать. И уж точно не знала, что граф Пётр Алексеевич Александров, проводив её взглядом, простоял на морозе ещё добрых десять минут, глядя на следы её маленьких ножек на снегу, и прошептал сам себе:

— Кто она? И почему у неё такие печальные глаза?

Глава 7. Публичное испытание

Февральский ветер с Невы выл в печных трубах Зимнего дворца, как запертый зверь. Но внутри, в бальной анфиладе, было жарко, душно и ослепительно светло от тысяч свечей, чей свет дробился в хрустале люстр и умножался в зеркалах. Мария стояла у колонны, отделанной малахитом, и чувствовала, как по спине, под корсетом, стекает капля пота. Медленно, щекотно, невыносимо.

Изумруды на её шее были холодны, как лёд. Она помнила, как он велел их надеть — короткой запиской, без «пожалуйста», без подписи, просто «наденьте изумруды». И она надела. Она всегда делала то, что он велел. В этом был её позор, её безопасность, её проклятие.

Императрица стояла у трона — бледная, прямая, в серебристом платье, похожая на извояние. Её лицо ничего не выражало. Она умела не видеть того, чего не хотела видеть. Рядом с ней, чуть позади, переминался наследник — юный Александр, высокий, угловатый, с любопытством разглядывавший ту самую «французенку», о которой судачил весь двор. Сегодня они были здесь. Вся Императорская семья. И это было знаком. Знаком того, что Государь задумал нечто особенное.

Мария не знала, что именно. Но предчувствие сжимало сердце ледяной рукой.

Оркестр грянул мазурку, и пары закружились по паркету. Мария не танцевала — стояла, вжавшись в свою колонну, и молилась лишь об одном: чтобы этот вечер закончился. Чтобы он устал, напился, увлёкся кем-то другим. Чтобы она могла уехать домой, к детям, к тишине.

Но Бог не слышал её молитв.

Государь возник словно из ниоткуда. Высокий, статный, в тёмно-зелёном мундире Преображенского полка, с золотым шитьём на воротнике и обшлагах. Лицо его было румяно от вина, а в светло-голубых глазах плясали те самые бесенята, что не предвещали ничего доброго. Он взял её за локоть — не грубо, но властно, так, что вырваться было невозможно.

— Пройдётесь, графиня, — произнёс он, и это был не вопрос.

Он повёл её через весь зал — сквозь толпу, которая расступалась перед ними, как море перед фараоном. Мария чувствовала на себе взгляды — любопытные, презрительные, жалостливые — и шла, опустив глаза, чтобы не видеть этих лиц. Она не знала, куда он её ведёт, пока не услышала, как смолкают разговоры.

Они остановились перед Императрицей.

— Александрина, душенька, — произнёс Николай громко, нарочито громко, чтобы слышали все, — позволь представить тебе графиню Марию де Метресс. Ту самую, о которой ты, полагаю, слышана.

Александра Фёдоровна перевела на Марию взгляд. В её глазах не было ни злобы, ни ревности, ни даже интереса. Только усталость. Бесконечная, глубокая, как Балтийское море, усталость женщины, которая давно смирилась с тем, что её муж коллекционирует фавориток.

— Рада знакомству, — произнесла она по-французски ровным, бесцветным голосом. — Я много о вас слышала.

Мария сделала реверанс, чувствуя, как горят её щёки. Этот момент был хуже любой пытки. Стоять перед женой человека, который владел тобой десять лет, и делать вид, что это светская беседа... Это было за пределами унижения.

Но Государь ещё не закончил. Он вдруг взял её за руку — ту самую руку, что дрожала в его хватке, — и поднёс к губам. Демонстративно, театрально, на глазах у жены и всего двора. Его губы были горячими и сухими.

— Моя драгоценная графиня, — произнёс он, и в его голосе звучала издёвка, смешанная с той особенной, порочной лаской, которую Мария так хорошо знала, — сегодня вы особенно хороши. Эти изумруды словно созданы для вас. Как и я.

Он засмеялся — коротко, хрипло — и вдруг резким движением обхватил её за талию. Пальцы его, сильные, как стальные крюки, впились в корсет, а сам он прижался к ней так близко, что Мария почувствовала запах вина и табака, исходивший от его губ.

— Государь, прошу вас, — прошептала она, пытаясь отстраниться. — Здесь же люди...

— Люди? — он рассмеялся громче. — А что мне люди? Я — Император. Я делаю, что хочу, с кем хочу и где хочу. Или ты забыла об этом, моя сладкая мятежница?

Он произнёс это на французском — подчёркнуто, с издёвкой, — и по залу пробежал шепоток. Мария увидела, как побелели пальцы Императрицы, сжимавшие веер. Как наследник отвёл глаза. Как кто-то из дам прикрыл рот опухалом.

И тогда случилось то, чего она боялась больше всего.

Из толпы вышел человек.

Он двигался спокойно, но в каждом его шаге была та особенная, сдерживаемая сила, которая заставляет людей умолкать. Граф Пётр Алексеевич Александров, в парадном мундире конногвардейца, с серебряными эполетами, сиявшими в свете люстр, вышел вперёд и остановился в двух шагах от Императора. Его лицо было бледно, как мрамор, но взгляд — прямой, открытый, бесстрашный.

— Ваше Императорское Величество, — произнёс он, и голос его, хотя и негромкий, разнёсся по залу, как звук трубы. — Я прошу вас остановиться.

Государь замер. Его руки всё ещё держали Марию, но хватка чуть ослабла. Он медленно, очень медленно повернул голову и посмотрел на графа. В его глазах вспыхнул тот самый ледяной огонь, который предвещал бурю.

— Что вы сказали? — переспросил он тихо. Слишком тихо. Так тихо, что Марии захотелось закричать.

— Я прошу вас, Государь, — повторил Александров, и голос его не дрогнул, — не унижать графиню публично. То, что вы делаете, недостойно вас. И недостойно её.

В зале стало так тихо, что было слышно, как потрескивают свечи в канделябрах. Мария застыла, не в силах ни вдохнуть, ни выдохнуть. Она смотрела на Петра — на его спокойное, мужественное лицо, на его серые глаза, горевшие решимостью, — и не могла поверить. Он бросал вызов Императору. Ради неё. Прямо сейчас, перед всем двором.

Государь отпустил её. Он отпустил её талию и повернулся к графу всем корпусом. На его лице появилась улыбка — страшная, кривая, похожая на оскал.

— Александров, — произнёс он, растягивая слоги. — Конногвардеец. Вы решили поиграть в героя? В благородного рыцаря, что спасает даму от дракона? Похвально. Глупо, но похвально.

— Я не играю, Ваше Величество, — ответил Пётр. — Я говорю то, что велит мне честь.

— Честь! — Император вдруг расхохотался — громко, лающе, так, что несколько дам вздрогнули. — Вы слышите, господа? Он говорит о чести! О чести, защищая женщину, которая десять лет лежит подо мной по первому моему зову! Которая родила мне двоих детей! Которая носит мои изумруды на шее и мои поцелуи на губах! Где тут честь, граф? Где?

Он повернулся к Марии и схватил её за подбородок, заставляя поднять лицо. Его пальцы были грубы, и она почувствовала, как ногти впиваются в нежную кожу.

— Посмотри на этого идиота, Мари, — произнёс он вполголоса, но так, что слышали все. — Посмотри на него и скажи: ты хочешь, чтобы он защищал твою честь? Хочешь, чтобы он рисковал своей жизнью, своей карьерой, своей головой — ради тебя?

Мария молчала. Её глаза, полные слёз, метались между двумя мужчинами. Один — её мучитель, её господин, отец её детей, человек, которого она боялась до дрожи. Другой — почти незнакомец, который почему-то решился на немыслимое. Ради неё.

— Отвечай! — рявкнул Государь и встряхнул её за подбородок. — Отвечай, когда Император спрашивает!

И тогда Пётр сделал шаг вперёд.

— Не трогайте её, — произнёс он, и голос его стал ниже, твёрже, опаснее. — Вы можете делать со мной что угодно, но не трогайте её.

На мгновение всем показалось, что сейчас прольётся кровь. Государь отпустил Марию и медленно, хищно повернулся к графу. Его глаза горели, ноздри раздувались, а рука непроизвольно сжалась в кулак.

— Вы осмеливаетесь приказывать мне? — прошипел он. — Вы, щенок, осмеливаетесь указывать Императору, что ему делать?

— Я не приказываю, — ответил Пётр, не опуская глаз. — Я прошу. Как офицер — офицера. Как мужчина — мужчину. Отпустите её. Она не заслужила этого.

— А вы заслужили смерти, — отрезал Государь. — Вы забыли, кто я.

— Я помню, кто вы, — сказал Пётр. — Вы — Император. Но Император — это не только власть. Это ещё и справедливость. И я верю, что вы знаете это лучше меня.

Повисла пауза — долгая, страшная, звенящая. Государь смотрел на Петра, и в его глазах что-то менялось. Не смягчалось — нет, — но переплавлялось. Ярость уступала место чему-то другому. Холодному расчёту. Изучающему любопытству.

— Вы любите её, — произнёс он наконец. — Вы действительно любите её. Я вижу это.

— Да, — ответил Пётр. — Люблю.

Государь перевёл взгляд на Марию. Она стояла, дрожа, как осиновый лист, и по её лицу текли слёзы.

— А вы, Мари? — спросил он, и голос его был почти нежен. — Вы любите его? Вот этого конногвардейца, что готов отдать за вас жизнь?

И тут наступил момент, к которому Мария оказалась не готова. Момент, которого она ждала десять лет — и боялась больше смерти. Момент выбора.

Она открыла рот. Она хотела сказать «да». Она хотела сказать это так же твёрдо, как он, так же бесстрашно, так же благородно. Её сердце кричало это слово, оно рвалось из груди, оно обжигало горло.

Но страх был сильнее.

Страх — старый, липкий, вымуштрованный годами побоев и унижений — сжал её горло ледяными пальцами. Она увидела перед собой лицо Императора, его холодные глаза, его усмешку, и вспомнила всё. Вспомнила ту ночь, когда он избил её. Вспомнила угрозу отобрать детей. Вспомнила, как он сказал: «Ты — моя вещь. И если я захочу тебя наказать, я накажу».

И она испугалась. Испугалась за себя. За Петра. За детей. За то, что сейчас, сию секунду, её счастье рухнет, даже не начавшись.

— Нет, — прошептала она, и голос её прозвучал как надтреснутый колокольчик. — Нет... Ваше Величество... я не люблю его. Я даже не знаю его. Это всё... это всё какая-то ошибка. Он ошибся. Я не просила его...

Она говорила и видела, как меняется лицо Петра. Как гаснет в его глазах тот самый свет, что горел там минуту назад. Как его плечи опускаются, а руки, только что сжатые в кулаки, разжимаются.

Она предала его. Трусливо, жалко, подло. Она предала человека, который рискнул ради неё всем.

Государь расхохотался. Теперь его смех был победным — громким, торжествующим, оскорбительным.

— Вы слышали, господа? — воскликнул он, обводя зал взглядом. — Она не любит его! Графиня де Метресс не любит графа Александра! Благородный рыцарь ошибся адресом! Какой конфуз! Какой восхитительный, скандальный конфуз!

Он повернулся к Петру и, шагнув к нему вплотную, произнёс — тихо, но так, что каждое слово вбивалось, как гвоздь:

— Вы слышали даму, граф. Она не желает вашего рыцарства. Вы свободны. Можете возвращаться в свой полк и впредь быть осмотрительнее в выборе дам, чью честь вы защищаете.

Пётр ничего не ответил. Он стоял неподвижно, и только желваки ходили на его скулах. Потом он медленно, очень медленно перевёл взгляд на Марию. И в этом взгляде она увидела не гнев. Не презрение. А боль. Такую глубокую, такую невыносимую боль, что лучше бы он ударил её.

— Я понимаю, — произнёс он тихо, одними губами. — Не бойтесь. Я понимаю.

Он поклонился — не Императору, а ей, — развернулся и пошёл прочь. Толпа расступалась перед ним, и Мария видела, как его прямая спина удаляется, удаляется, исчезает в дверях анфилады.

И вместе с ним исчезало всё, во что она могла бы верить.

Государь повернулся к ней и взял её за руку. Теперь его хватка была почти нежна.

— Вы правильно поступили, Мари, — произнёс он, наклоняясь к её уху. — Вы очень правильно поступили. За это я награжу вас. Сегодня ночью. А сейчас — стража!

От его окрика вздрогнули даже музыканты. Два дюжих кавалергарда выступили из-за колонн.

— Графиня устала, — объявил Император. — Проводите её в Малую гостиную. Пусть отдохнёт. Я приду позже.

Мария попыталась что-то сказать, но он приложил палец к её губам.

— Тсс, моя милая. Спектакль окончен. Теперь только мы.

Её повели через зал, мимо любопытных, осуждающих, жалостливых глаз, и она шла как в тумане. Она предала его. Она предала себя. Она предала всё, что было в ней ещё живого.

И теперь, в Малой гостиной, на той самой алой кушетке, где десять лет назад она впервые уступила ему, её ждала награда.

Он пришёл позже. Она не знала, сколько прошло времени — час, два, три. Она сидела на кушетке, не зажигая свечей, и только огонь камина освещал комнату дрожащими всполохами. Она не плакала. Слез не осталось.

Дверь отворилась, и он вошёл. Без мундира, в одной белой рубашке, расстёгнутой у ворота. Его волосы были слегка растрёпаны, а глаза всё ещё горели тем самым возбуждением, которое всегда охватывало его после публичных сцен.

— Вы хорошо сыграли свою роль, — произнёс он, приближаясь. — Я горжусь вами.

Она не ответила. Она смотрела в огонь.

Он сел рядом с ней, взял её лицо в свои ладони и повернул к себе.

— Не дуйтесь, Мари. Всё кончено. Он ушёл. Вы остались. Со мной. Как всегда.

— Да, — прошептала она. — Как всегда.

Он поцеловал её. И она ответила на поцелуй.

Она сама потянулась к нему, сама обвила его шею руками, сама прижалась всем телом. Не потому что хотела его. Не потому что смирилась. А потому что знала: если она не ответит, он снова станет жесток. А если ответит — он будет нежен. И сегодня ей нужна была нежность. Любая нежность. Даже от него.

Его руки скользили по её телу, расшнуровывали корсет, гладили обнажённые плечи. Он шептал ей на ухо что-то — по-французски, ласково, как тогда, десять лет назад. А она закрыла глаза.

И когда он целовал её, она представляла не его.

Она представляла серые глаза, смотревшие на неё с такой болью и такой любовью. Представляла сильные руки, которые не хватали, а поддерживали. Представляла голос, который не приказывал, а просил.

Она представляла графа Петра Алексеевича Александрова, и от этого ей было так сладко и так горько одновременно, что она закусил губу, чтобы не закричать.

Она отдавалась Императору, но в своих мыслях она была с другим. И это была единственная свобода, которую он не мог у неё отнять.

Утро наступило серое, холодное, безрадостное. Мария очнулась на кушетке, укрытая шёлковым покрывалом. Императора уже не было — он ушёл до рассвета, как всегда. В комнате пахло вином, потом и духами. Голова болела, а на губах остался привкус его поцелуев.

Она медленно села, поправляя платье. Тело ломило, как всегда после его ласк. Она хотела одного — добраться до дома, упасть в постель и забыться.

Но судьба готовила ей последний удар.

Дверь отворилась, и вошла Жюстина. Должно быть, Государь приказал ей ждать снаружи, чтобы помочь госпоже привести себя в порядок. Но, едва взглянув на лицо горничной, Мария поняла: случилось что-то страшное.

— Мадемуазель... — голос Жюстины дрожал, а глаза были красны от слёз. — Я только что узнала... мне сказал адъютант... Его Величество сегодня ночью подписал приказ.

— Какой приказ? — спросила Мария, и сердце её упало.

— Графа Александра отправляют на Кавказ. Сегодня утром. Он уже выехал. Это ссылка, мадемуазель. Его ссылают в действующую армию, в самое пекло. Там война, там горцы, там смерть...

Мария не дала ей договорить. Она вскочила, и комната поплыла перед её глазами. Кавказ. Война. Он отправляет его на верную смерть — и всё из-за неё. Из-за того, что он осмелился защитить её, а она, трусливая, жалкая тварь, не нашла в себе сил ответить на его благородство.

— Счастье было так близко... — прошептала она, и голос её сорвался. — Оно было здесь, Жюстина, понимаешь? Здесь! Протяни руку — и вот оно. А я... я сама оттолкнула его. Я сама его предала. Я убила его!

Последние слова вырвались криком — диким, животным, и Мария вдруг зарыдала так, как не рыдала никогда прежде. Это была не истерика — это было крушение всего. Она упала на колени перед кушеткой, той самой, на которой только что лежала в объятиях Императора, и била кулаками по бархату, и выла, выла в голос, как раненый зверь.

— Это я! — кричала она. — Это всё я! Я должна была сказать «да»! Я должна была пойти за ним! Я должна была плюнуть на страх, на детей, на всё! А я... я такая же, как все, я тварь, я ничтожество, я не заслужила его!

Жюстина бросилась к ней, пытаясь обнять, поднять, успокоить, но Мария вырывалась, захлёбываясь рыданиями.

— Он умирает там сейчас! — кричала она. — Он умирает, а я здесь! И я не могу... я никогда... я больше никогда его не увижу! И он умрёт, думая, что я его не люблю! Что я его предала! А я люблю его, Жюстина, люблю, люблю, люблю!

Она кричала это до тех пор, пока голос не сел окончательно. А потом, обессиленная, рухнула на пол и затихла, только плечи её вздрагивали, а из груди вырывались тихие, жалобные всхлипы.

Жюстина сидела рядом, обнимая её и плача вместе с ней.

— Мы что-нибудь придумаем, мадемуазель, — шептала она, глядя Марию по волосам.
— Что-нибудь придумаем. Бог не оставит нас. И его не оставит.

Но Мария уже не слышала её. Она лежала на холодном паркете Малой гостиной, и перед её глазами стояло одно-единственное лицо. Серые глаза, тёплые и печальные. И голос, который она никогда больше не услышит.

Глава 8. Прощание с золотой клеткой

Три дня и три ночи Мария не покидала своей спальни.

Особняк на Английской набережной погрузился в тягостную, неестественную тишину. Слуги ходили на цыпочках, дети, чувствуя неладное, притихли, и только Жюстина, верная Жюстина, беззвучно входила и выходила, меняя нетронутые подносы с едой, поправляя свечи, задерживая шторы, когда утренний свет становился слишком резким для воспалённых глаз госпожи.

Мария лежала на постели, отвернувшись к стене, и молчала. Она не плакала — все слезы были выплаканы там, в Малой гостиной Зимнего дворца, когда она узнала о его отъезде на Кавказ. Теперь внутри неё была пустота. Та самая пустота, что приходит после страшной бури, когда всё уже сломано и остаётся лишь один вопрос: что делать с обломками?

Первые два дня она винила себя. Снова и снова прокручивала в голове ту страшную минуту, когда он спросил её: «Вы любите его?», а она ответила «нет». Она вспоминала его глаза — серые, тёплые, полные надежды — и то, как они погасли, когда она предала его. Предала человека, который рискнул всем ради неё. Предала из трусости, из страха, из десятилетней привычки подчиняться.

— Я ничтожество, — шептала она в подушку, и Жюстина, убиравшая в углу комнаты, вздрагивала и кусала губы. — Я хуже, чем он. Он хотя бы не притворяется добрым. А я... я предала того, кто любил меня.

На третий день что-то изменилось. Мария проснулась на рассвете — не от кошмара, не от рыданий, а от странного, непривычного чувства. Словно кто-то тронул её за плечо и сказал: «Хватит».

Она села на постели и долго смотрела в окно. Там, за обледенелыми стёклами, занимался серый февральский рассвет. Нева, скованная льдом, блестела тусклым свинцом. Вдалеке, над Петропавловской крепостью, поднимался дымок — топили печи в казармах. Город просыпался, и вместе с ним просыпалось что-то в душе Марии. Что-то, чего она не чувствовала уже много лет.

Гнев. Не на себя — на него.

— Десять лет, — произнесла она вслух, и голос её, хриплый после долгого молчания, прозвучал неожиданно твёрдо. — Десять лет я пляшу под его дудку. Десять лет я боюсь его ударов, его гнева, его приказов. Десять лет я улыбаюсь, когда он хочет, плачу, когда он позволяет, и рожаю детей, которых он даже не считает нужным любить.

Она встала с постели — босая, в измятой ночной рубашке — и подошла к зеркалу. Из серебряной глубины на неё глядела женщина, которую она почти не узнавала. Бледная, осунувшаяся, с тёмными кругами под глазами и потрескавшимися губами. Но в глазах этой женщины — впервые за долгое время — горел не страх. А решимость.

— Жюстина! — позвала она, и горничная тут же вбежала в комнату. — Приготовь мне бумагу и перо. Лучшую бумагу, с вензелями. И принеси вина. Нет, не разбавленного. Настоящего. Бургундского. Я буду писать письмо.

— Письмо? — Жюстина округлила глаза. — Кому, мадемуазель?

— Императору, — ответила Мария, и по губам её скользнула горькая, почти жестокая усмешка. — Я напишу ему то, что должна была сказать ещё тогда, на Невском, десять лет назад.

Она села за бюро красного дерева — то самое, что он подарил ей на третью годовщину их связи, — и положила перед собой лист плотной, кремовой бумаги с золотым обрезом. Обмакнула перо в чернильницу и замерла.

Что написать? С чего начать?

Она вдруг поняла, что за десять лет ни разу не говорила с ним по-настоящему. Были слезы, мольбы, редкие вспышки гнева, которые он гасил одним ударом. Были признания в любви, которые он вырывал у неё силой. Были письма — его к ней, короткие, приказные, и её к нему — покорные, благодарственные. Но ни разу — ни единого раза — она не сказала ему правды.

Теперь правда должна была выплеснуться на бумагу. Вся, без остатка. Даже та, которую она боялась признать сама.

Она выпила бокал бургундского — одним глотком, до дна, чувствуя, как тепло разливается по телу, — и начала писать.

«Ваше Императорское Величество,

Я пишу Вам это письмо, зная, что оно, вероятно, станет последним, что я вообще пишу в этой жизни. Ибо, когда Вы прочтёте его, я уже буду далеко. Там, где Вы не сможете меня достать. Не потому что Ваша власть не простирается так далеко — Ваша власть, я знаю, не имеет границ. Но потому что я больше не дам Вам власти над собой.

Десять лет, Государь. Десять лет я была Вашей собственностью. Вашей игрушкой, Вашей куклой, Вашей «драгоценной графией», которую Вы одевали в изумруды и выставляли напоказ, а потом, за закрытыми дверями, били, унижали и насиловали, называя это любовью. Десять лет Вы владели моим телом, моими мыслями, моими слезами и моим смехом, и я позволяла Вам это — из страха, из слабости, из благодарности за тот хлеб и кров, что Вы мне дали.

Вы сломали меня, Ваше Величество. Вы растоптали меня так, как не растоптать ни одному сапогу. Вы отняли у меня отца, родину, будущее — всё, что у меня было, Вы забрали себе и повесили на стену, как трофей. Вы сделали меня матерью Ваших детей — и Вы же угрожали отнять их у меня, если я осмелюсь послушаться. Вы, человек, которого я когда-то, в глупом своём девичестве, почти полюбила — за Вашу силу, за Вашу красоту, за тот огонь, что горел в Вас, — Вы оказались самым жестоким, самым холодным, самым бесчеловечным из всех, кого я знала.

Но сегодня я пишу Вам не для того, чтобы обвинять. Я обвиняла Вас достаточно — в своих мыслях, в своих молитвах, в своих ночных рыданиях. Сегодня я пишу, чтобы сказать то, чего Вы, вероятно, не ожидаете от меня услышать.

Я прощаю Вас.

Да, Государь. Я, Мария Франсуаза де Метресс, графиня без земель, мать Ваших внебрачных детей, Ваша бывшая фаворитка, Ваша «сладкая мятежница» — я прощаю Вас. За каждый удар. За каждое унижение. За каждую ночь, когда я лежала под Вами и представляла, что умираю. За страх, который Вы вбили в меня так глубоко, что он стал частью моей души. За всё, что Вы сделали и чего не сделали.

Я прощаю Вас не потому, что Вы заслужили прощение. Я прощаю Вас потому, что я больше не хочу носить этот груз. Я устала ненавидеть. Я устала бояться. Я устала быть Вашей вещью. Я хочу снова стать собой — той дерзкой девчонкой, которая когда-то на Невском проспекте посмеялась над Вашими усами и не побоялась Вашего гнева. Вы убили её, Государь. Но сегодня я воскрешаю её из мёртвых.

Вы спросили меня тогда, на балу, люблю ли я графа Александрова. И я ответила «нет». Я солгала. Я люблю его, Ваше Величество. Люблю так, как никогда не любила Вас. Люблю не за власть, не за богатство, не за страх. Люблю за то, что он увидел во мне не вещь, а человека. За то, что он рискнул головой ради моей чести. За то, что он сказал Вам в лицо то, что я сама должна была сказать десять лет назад.

И теперь я еду к нему. На Кавказ, в горы, в войну, в неизвестность. Я не знаю, доберусь ли я туда живой. Я не знаю, жив ли он сам. Но даже если мне суждено умереть на этой дороге, я умру свободной. Свободной от Вас. Свободной от страха. Свободной от той золотой клетки, в которую Вы меня посадили.

Не ищите меня, Государь. Не посылайте за мной фельдъегерей и жандармов. Вы не вернёте меня — ни угрозами, ни мольбами, ни силой. Вы потеряли меня в ту самую минуту, когда ударили в первый раз. Просто я поняла это только сейчас.

Мои дети остаются в Петербурге. Павел и Александра — они Ваша кровь, и я молю Вас о единственном: позаботьтесь о них. Не наказывайте их за мою дерзость. Они не виноваты в том, что их мать наконец вспомнила, что она — человек. Жюстина, моя горничная, останется с ними. Она заменит им меня, пока я не смогу вернуться — если я смогу вернуться.

Прощайте, Ваше Императорское Величество. Или — нет. Не прощайте. Я не хочу прощаться с Вами так, словно Вы всё ещё имеете надо мной власть. Я просто скажу: будьте счастливы, если сможете. Будьте милосердны, если у Вас получится. И помните: самая большая сила — это не та, что ломает. А та, что отпускает.

Та, что отпускает.

Мария».

Она дописала последнюю строчку, поставила точку и отложила перо. Рука дрожала, но внутри неё разливалось странное, давно забытое чувство. Спокойствие. Она сделала то, что должна была сделать. Она высказала ему всё — и простила. Теперь оставалось последнее.

Она сложила письмо, запечатала его своей личной печаткой — буква «М» в окружении лаврового венка — и написала на конверте: «Его Императорскому Величеству. В собственные руки. От графини де Метресс».

Затем встала и подошла к двери.

— Жюстина! — позвала она.

Горничная вошла немедленно — должно быть, стояла под дверью всё это время. Её лицо было бледно, а глаза красны.

— Мадемуазель...

— Не плачь, — сказала Мария мягко. — Я знаю, что ты плакала. Ты всё слышала?

— Я... я не подслушивала, клянусь! Просто вы иногда говорили вслух, когда писали, и...

— Ничего. Это не важно. — Мария взяла руки Жюстины в свои. — Слушай меня внимательно. Сегодня, в полночь, я уезжаю. На Кавказ. К графу Александрову.

Жюстина ахнула.

— Но, мадемуазель! Это же... это тысячи вёрст! Там война! Там горцы, там горы, там холод! Вы погибнете!

— Возможно, — ответила Мария спокойно. — Но лучше погибнуть на пути к свободе, чем жить в клетке. Я так решила, Жюстина. И ты мне поможешь.

— Всё что угодно, — прошептала горничная. — Всё, что прикажете.

— Я не приказываю, — Мария улыбнулась — впервые за много дней. — Я прошу. Ты — единственный человек в этом городе, кому я доверяю. Ты была со мной все эти годы, ты видела всё, ты знаешь всё. И теперь я оставлю на тебя самое дорогое, что у меня есть. Моих детей.

Жюстина зарыдала в голос, но тут же вытерла слёзы рукавом.

— Я не подведу вас, мадемуазель. Клянусь Пресвятой Девой. Я буду беречь Павла и Александру как родных. И я буду ждать вас. Каждый день буду ждать.

— Я знаю, — Мария обняла её. — Ты — мой ангел-хранитель. И я вернусь. Обязательно вернусь. С ним. С графом Александровым. И тогда мы все будем вместе.

Они простояли так несколько минут, обнявшись, две женщины, прошедшие через ад и не сломавшиеся. Потом Мария отстранилась и сказала уже деловым тоном:

— А теперь — слушай, что нужно сделать.

Остаток дня прошёл как в тумане.

Жюстина, проявив неожиданную расторопность и хитрость, раздобыла подорожную — через знакомого лакея из французского посольства, за приличную мзду. Мария собрала только самое необходимое: тёплый редингот на меху, две смены белья, деньги — те самые, что удалось скопить тайком от Императора за десять лет, — и маленький пистолет с перламутровой рукоятью, подарок Государя, который она когда-то презирала, а теперь решила, что он может пригодиться.

Когда на город опустились сумерки, она пошла в детскую.

Павел и Александра уже спали — сын раскинулся на постели, сжимая в руке книгу, дочь свернулась калачиком, прижав к щеке ладошку. Мария постояла над ними, глотая слёзы. Она не знала, увидит ли их снова. Не знала, поймут ли они когда-нибудь, почему мать оставила их. Но она знала одно: она не может остаться. Не может превратиться в тень, в бесплотный призрак, каким была все эти годы. Дети заслуживают мать, у которой есть душа, а не ту пустую оболочку, в которую превратил её Император.

Она наклонилась и поцеловала каждого — сначала Павла, потом Александру. Долгим, нежным поцелуем в лоб.

— Мама вернётся, — прошептала она. — Обязательно вернётся. И привезёт вам нового отца. Настоящего.

Потом она вышла из детской и не оглянулась.

В полночь, как и было задумано, у чёрного хода особняка её ждала кибитка. Простая, крытая, без вензелей и гербов, запряжённая тремя лошадьми. Возница — угрюмый бородатый мужик, которому заплатили достаточно, чтобы он не задавал вопросов, — сидел на облучке, закутанный в тулуп.

Мария, одетая в тёплый дорожный костюм и подбитый мехом плащ, вышла на крыльцо. Мороз ударил в лицо, и она на мгновение зажмурилась. Ночь была ясной, звёздной, и где-то вдалеке, над Невой, сияла Полярная звезда — та самая, что указывает путь странникам.

Жюстина стояла на крыльце, кутаясь в шаль, и беззвучно плакала.

— Вот, возьми, — Мария протянула ей запечатанный конверт. — Это письмо. Завтра утром, когда всё откроется, отправь его с нарочным во дворец. Только завтра, не раньше. Чтобы меня не успели перехватить.

— Я сделаю, — прошептала Жюстина. — Храни вас Господь, мадемуазель.

— И тебя, — Мария обняла её в последний раз. — Спасибо тебе. За всё.

Она села в кибитку, закуталась в меховой полог и кивнула вознице. Тот дёрнул вожжи, и тройка тронулась с места. Сани заскрипели по снегу, и особняк на Английской набережной — тот самый, что был её золотой клеткой целых десять лет, — начал медленно отдаляться.

Мария смотрела, как исчезают в темноте его очертания, и не чувствовала ни сожаления, ни страха. Только странное, пьянящее, почти забытое чувство.

Свободу.

Впереди лежал долгий путь — тысячи вёрст через заснеженные равнины, через города и деревни, через метели и морозы, туда, где в горах Кавказа сражался и, быть может, умирал человек, которого она любила. Она не знала, найдет ли его живым. Не знала, примет ли он её после того предательства. Но она знала одно: она больше не вещь. Она больше не «графиня де Метресс», фаворитка Императора. Она — просто Мария. Женщина, которая едет к своей истинной любви.

И когда кибитка выехала на заснеженный тракт и кони побежали быстрее, Мария подняла голову к звёздному небу и прошептала:

— Я еду, Пётр Алексеевич. Ждите меня. Я еду.

За спиной её остался Петербург — холодный, стальной, императорский. А впереди, где-то далеко, за горами и долинами, ждал её Кавказ. Ждал её граф. Ждала её новая жизнь.

Кибитка исчезла в ночной мгле, и только звон бубенцов ещё долго разносился над спящей Невой, пока не растаял в тишине.